

Вещь

1(23)/2021

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Поэзия

Евгения Риц

Селим Эсилов

Проза

Александра Шабатовская

Любовь Соколова

Памяти Александра Петрушкина



Вещь

1(23)/2021

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

18+



3	Евгения Риц <i>Город Уверов и другие стихотворения</i>
8	Константин Духонин <i>Цой (рассказ)</i>
14	Селим Эсилев <i>Фаюмские портреты (стихи)</i>
20	Любовь Соколова <i>В сумерках (главы из романа)</i>
50	Александр Корамилов <i>Реинкарнации (стихи)</i>
56	Александра Шабатовская <i>Внешний соон (между поэзией и прозой)</i>
62	Руслан Комадей <i>Стыды (стихи)</i>
65	Владимир Кишин <i>Кто загрыз танкиста (новеллы)</i>
77	Денис Колчин <i>Беспилотник (стихи)</i>
82	Вера Некрасова <i>Чилийский дневник (травелог)</i>
89	Андрей Мансветов <i>Памяти Александра Петрушкина (1972–2020)</i>
94	Ольга Роленгоф <i>Неистовые футуристы, Лев Давыдычев и «Академия первых» (краеведение)</i>
100	Сергей Ивкин <i>Назначение книги (критика)</i>
104	Алексей Колесниченко, Ольга Балла, Андрей Мансветов, Сергей Ивкин, Марта Шарлай и Елена Георгиевская <i>О книгах Марии Мартысевич («Сарматия и другие поэмы»), Йегуда Амихай («Сейчас и в другие дни»), Константина Рубинского («Теперь никто не умер»), Екатерины Симоновой («Два ее единственных платья»), Антона Бахарева («Нежный человек») и Киры Фреггер («Куда Льюин Дэвис несёт кота») (рецензии)</i>
117	Авторы номера

Евгения Риц

Город Уверов и другие стихотворения



Город Уверов выходит в темноты дня,
Снеговые карманы полны землей.
Уже девятнадцатый век,
Но ещё не горит фонарь.
Ещё двадцать первый век,
И фары звенят, как встарь,
Шпоры звенят, звеня.
Город Уверов свернулся к спине спина,
Каждый прохожий проходит его насквозь,
Как наизусть, но не вдоль, а вверх,
А наверху, во встречных огнях полос,
Тоже такой же снег.
Город Уверов сложен в пустотах сна,
Снеговые щели полны огнём.
Это слоистый город. Все слои его — времена

Полых его времен.
По слоям спускаясь, ты видишь, не глядя вниз,
Всё вокруг, поскольку холодно и темно,
Видя вниз, глядишь ты холодно и в окно
Выше снега бьётся зелёный лист.

И он шагает через стену
Не сквозь, а вверх.
Какой-то бережный оттенок
Приобретает свет.
Он этот свет приобретает,
А тот об ветки обветшал,
Об ветер вытерся, как шаль,
И только кисточка витая
Елозит по другим вещам.
И только косточка литая,
Вся разлитая по лучам,
Всё разлетает здесь и там.
А он читает через стену
Не вслух, а в глаз
Такую лексику обценну,
Что вся корнями расплелась,
А листьями и прочей хвоей
Совсем достала дна высот
И завитками на обоях
Теперь обратно лезет в рот.

Вчерашними городами
Ноги переломали —
Поднимались выше каждого фонаря —
Свет держал, ударял,
Одарял, манил —
Ниже валялся мир,
Выше пластался дым.
И он кинул руку ему с плеча —
Забирайся выше по лестнице голосов,
А чтоб было выше ещё, кричал
Голосом на восток.
А потом ступень набросилась на ступень,
И канат потёр себя о канат.
Он потел, как пел, и сопел, как мел,

Весь в одышке под сводом гланд.
И фонарь погас, и другой погас,
И вечерний вдруг стал ночным,
Но насколько небу хватало мяс,
Он хватался рукой за нимб,
И рывком тянулся, и весь из нас
Полз над ним.

Не через реку уверовский мост
Лёг — через снег, через лёд
Тянется линия чёрных полос,
Как через день, через год,
Не через веко уверенный рост
Встал — через мех, через мох
Мыльная пена пологих болот
Вся просочилась у ног.
Духи телесного леса шуршат
Кожей сухой на боку.
Шёл через горло доверчивый чад,
Вышел — и как на духу.
Шёл молодец из телес через лес,
Шёл китобой за трубой,
Город Уверов из дымных колец
Смотрит его как геймбой.
Вот у него вырастает из глаз,
Вытянув сваи моста,
Клейкая лента дороги от нас
В разные очень места.

Снимает букву знак, а знак сминает буква,
Литой тяжёлый верх, четыре колеса,
И между ними выменем нагрубла
Чёрнёная от гроба полоса.
Винтажный парк, где злак сменяет смоква,
Не здесь, а там, куда по кольцевой
Перебираясь, азбука намокла
Ветражным Ленинградом и Мясквой.
А здесь везде колонки и подвалы,
Печатный шаг об лестничный пролёт
Не прогремит, а слева или справа
Отсюда высший свет на снег себя прольёт.

Здесь прах выводит тень, но тень за прах выходит,
И вот уже вдвоём из-под венца
Они несут кромешный запах плоти
С избитым выражением лица.

Он вошёл, раздвинул занавеску,
И такая тишь кругом легла,
Что холодный взгляд его невесты
Прозвучал, как точная стрела.
Не стрела звучит, а стонет жила,
Яростная вена между век,
Мышцами которую сдавило,
Чтоб не выпустить наружу снег,
Вот он и лежит под током крови,
А потом бежит потоком в кровь
Колкой электрической основы
Меж утком из вытянутых слов.
Он, когда вошёл, плечом раздвинул
Медленный, тяжёлый кислород,
И оконный след ему на спину
Встал, чтоб выйти криком через рот.

Уверов дремлет у окна,
Прижался лбом к стеклу,
И золотом его стена
Подсвечена в углу,
И оловом его слюна
Закапала дворы.
Уверов дремлет среди сна
Усталой детворы.
Он завтра выйдет из ворот,
Сжимая дипломат,
Но на работу не пойдёт,
А будет город-сад.
Повсюду волга и москвич
Бегут наперерез,
Уверов между ними нич-
Ком лежит окрест.
А я недавно родилась,
Уверов подо мной
Простёр любезные крыла с

Простышкой ледяной.
Я с ним пойду, и без него
Я выйду в тишину
Глубоких улиц, синевой
Подсвеченных по дну.

Константин Духонин

Цой



— Что ты собираешься делать?

Нет ответа.

— Ты что-то собираешься делать?!

Нет ответа.

Марина с раздражением метнулась к раковине мыть посуду и шипеть, что мужиков нормальных не осталось, что никакого толка от них нет. Гриша воспринимал ее шипение как фон, вроде звука льющейся в кучу грязной посуды и его ушную раковину воды, и даже знал, какого ответа ждет вдова друга Вити, погибшего ровно девять дней назад.

Эта парочка частенько посещала видеосалоны (небольшая комната, цветной телевизор, видеомагнитофон и двадцать-тридцать стульев, входной билет — рубль), Маринка любила эротику, Витька — боевики. Типовой сюжет, в котором за погибшего мстит старинный друг семьи, отпечатался в представлениях Марин-

ки о жизни в шаблон, типа «мыть руки перед едой», «чистить зубы по утрам», «за убитого мужа/друга надо отомстить». Теперь она пыталась воплотить его в реальности, и Гриша для такой цели подходил идеально — крепкий, спортивный, отслужил в армии, чем не мститель? Много лет спустя, когда Гриша станет вице-губернатором по внутренней политике, понимание, откуда и каким образом складываются мыслительные паттерны у населения, ему очень поможет в работе.

— Ты хоть что-то чувствуешь?! Такое ощущение, будто тебе все равно. Как будто у тебя не друга убили!

Гриша вздохнул и выпил водки, ему было не все равно. Сейчас он испытывал примерно те же чувства (бессильная злоба/злое бессилие — ограниченность в выборе средств, окрашенная агрессивным эмоциональным

фоном), какие возникли при знакомстве с Витькой много лет назад, еще в школе.

Первый класс. 1976 год, то ли конец октября, то ли ноябрь. Во дворе школы прямо на снегу гора капусты, продавщица в грязном фартуке проворно управляет с весами, бумажными и металлическими деньгами, а очередь все не заканчивается. Берут по многу — на засолку. По пять-десять кочанов. Приходят семьями, чтоб больше унести. Гриша до сих пор помнил вкус этой мороженой капусты. Не было ничего на свете слаще. От хруста скулы дико сводило, а глаза закатывались сначала под веки, а потом и за горизонт событий.

Гриша с Витькой и другими пацанами после занятий кинулись беситься на первом снегу. Несмотря на почти два с половиной месяца, проведенных в одном классе, познакомиться еще толком не успели, или сознание же отредактировало воспоминания и оставило самое яркое. Снежки, царь горы, сифа, толкотня. В то время родители практически ни за кем в школу не приходили, поэтому после занятий пальто нараспашку, лохматый пар изо рта, щеки красные — свобода!

Один из нехитрых аттракционов — портфелем запустить в ноги так, чтоб жертва упала. Иногда портфель расстегивался и все вываливалось. В этот раз высыпалось из Гришиного — пенал, карандаши, учебники. Собирать, разумеется, мешали — то толкнул, то портфель из-под руки выпнут. Не со зла — развлечение такое. Гриша, однако, бесился. Раз прикрикнул — не поняли. Два — в ответ ржание. Бросился с азартом на ближайшего — им оказался Витька, чтобы повалить в сугроб и натереть морду снегом так, чтоб до царапин. Но у Витьки был старший брат, который загодя научил его драться. Ничего особенного, но для мелкоты, не умеющей ничего, приемчик сгодился. Витька выставил ногу на уровне живота, в которую Гриша со всего разбега и врезался. Боль адская, дыхание сперло. Отдышался, схватил кочан и попытался метнуть в обидчика — тот увернулся и с парнями и хохотом убежал. Продавщица на растрепанного Гришу наорала, заставила капусту тащить обратно.

Потом в жизни у Гриши было много драк, поражений, несправедливости, но эмоции от них не сравнятся с обидой, которая захлестнула его тогда. Это была не обида, а обидище! Он пришел домой в слезах, сопли до колена, вкус соленой крови на зубах, бросил портфель в угол, побежал на кухню за ножом, чтоб вернуться и покарать Витьку. Свершить акт возмездия. Однако бабушка Гришу остановила. Всхлипывая, он, как мог, не называя имен (закладывать нехорошо), рассказал, что приключилось. Бабушка, наверное, произнесла что-то мудрое. Взрослые в таких ситуациях обычно всегда что-нибудь мудрое сказать норовят. Впрочем, помогло — первоклашка успокоился.

Примерно такие же чувства бессильной злобы испытывал сейчас Гриша, и эту агрессию надо было куда-то выплеснуть. Он перебил бурчание Марины:

— Пойдем, — вдова с досадой и звоном бросила в раковину тарелку с тряпкой и вышла из кухни, на ходу стаскивая кофту.

Хотя и считалось, что Гриша с Витькой дружили с детства, но особой привязанности между ними никогда не возникало — они были слишком разными. При этом все внешние атрибуты дружбы соблюдались — вписывались друга за друга на разборках, выручали деньгами, мелкими, но важными по молодости лет услугами. Это был не тот случай, когда противоположности притягиваются, просто как-то так получалось, что они всегда были рядом, в границах общего жизненного пространства. В школе долго сидели за одной партой. Жили по соседству. Потом вместе работали.

Витька где-то в пятом классе начал бегать за гаражи рядом со школой, где собирались на переменах все хулиганы, чтобы покурить. Старший брат к тому времени угодил в тюрьму, где-то как-то непонятно сгинул. Отец и мать выпивали, Витька, предоставленный сам себе, вырос разгильдяем, задирой и хулиганом. После школы поступил в строительный техникум, но то ли сам бросил учебу уже на втором курсе, то ли выгнали за то, что вымогал у однокурсников стипендию. Примерно в то же время умерла его бабушка и оставила внуку однокомнатную хрущевку.

Учитывая образ жизни Витька и наличие хаты, можно было легко спрогнозировать траекторию его судьбы — пьянки, разврат, драки и рано или поздно наркотики и/или тюрьма. Однако два обстоятельства Витька от этого сценария уберегли. Во-первых, он встретил Маринку. Миниатюрная брюнетка с копной густых волос обладала жестким волевым характером, категорически не ладила со своими родителями, а потому была рада перебраться к Витьку. Она как-то технично и довольно быстро ограничила время посещения квартиры и круг допущенных лиц. В общем, не дала превратить бабушкино наследство в приют для алкоголиков и разврата. Во-вторых, Витек был фанатом русского рока, ради новых записей, концертов он готов был забить на пьянки, друзей и даже Маринку. Она как-то попыталась отодрать от стены плакаты с рок-звездами, но в ответ Витек начал собирать ее вещи, чтобы выставить за дверь, и Маринка благоразумно отказалась от этой затеи. Это был единственный раз, когда Витек в противостоянии с Маринкой проявил характер — в остальном он ей беспрекословно подчинялся.

Григорий в противоположность Витьке хоть и не был паинькой (бегал пару раз с ним курить и приобщиться к миру старших пацанов, однако не понравился даже не сам дым, а запах мочи и прочих человеческих отходов за гаражами), но ни к чему душой не прикипал. Учился средне, но прилежно. Занимался пять раз в неделю борьбой, но без особого энтузиазма — родители записали в секцию, значит, надо ходить. Выступал на соревнованиях, что-то даже выигрывал и в выпускном классе получил коричневый пояс по дзюдо. После школы пробовал поступить в мединститут, но не поступил. Ушел в армию, испытал все тяготы службы и дедовщины. После армии решил не рисковать и поступил на исторический факультет на заочную форму обучения — там конкурс был поменьше. Короче говоря, был тихушником-середнячком, который не хватает звезд с неба, но к тридцати годам выбивается в начальники.

Квартира бабушки, доставшаяся Витьку, находилась в том же доме, где жили родите-

ли Гриши, поэтому, вернувшись из армии, он практически сразу встретился с одноклассником. Витек сразу пригласил его вечером в гости отметить дембель: «У меня Маринка, считай, жена почти, только с приличными людьми позволяет бухать, а тут такой повод, заходи, а?»

На пьянке по случаю встречи одноклассников выяснилось, что Витек работает медбратом в одной из первых частных психиатрических клиник: «Всякие шишки там отлеживаются после запоев и передоза, некоторых, у кого кукуха окончательно съехала, на постоянку определяют». Попал он туда по счастливому стечению обстоятельств. Маринка долго требовала, чтоб он нашел постоянную работу, Виктор долго сопротивлялся, уверял, что всегда заработает на строительных шашках, но потом нашел компромиссный вариант. Устроился в обычную психиатрическую больницу медбратом. Удобный график (сутки через двое) позволял и числиться официально трудоустроенным, и шашить.

Поначалу главврач скептически отнесся к новому работнику и взял его от безысходности, работать было некому — медбрат в его представлении должен быть мощным и сильным, а Витек был дрыщ — худой, с впалой грудью курильщика, среднего роста. Отношение изменилось, когда Виктору пришлось «успокоить» первого буйного пациента. Двухметровый алкоголик с бычьей шеей бросился на главврача. Витек, дежуривший в тот день, технично выбил пациенту колено, а затем хлестким ударом пробил солнечное сплетение. Пока буйный пытался глотнуть воздух и заграбастать ручищами обидчика, Виктор связал его первым, что попало под руку — докторским халатом. Это так впечатлило главврача, что он при случае похвастался ценным приобретением своему однокашнику — владельцу частной психиатрической клиники, а затем ему же за пару бутылок французского коньяка и «продал» Витька.

Виктор, впрочем, такой «продаже» был только рад. На новом месте зарплата оказалась на порядок выше, к тому же работники клиники могли регулярно закупать различ-

ный дефицит — финский сервелат, китайскую тушенку, индийский растворимый кофе, но, главное, импортные магнитофонные кассеты — TDK, BASF, Maxell. К моменту рассказа о кассетах Витек уже сильно захмелел и достиг той стадии, когда необходимо продемонстрировать гостю достижения и включить на полную громкость музыку. Разумеется, что-то из русского рока.

— По девять рублей кассета, — пояснила с неодобрением Марина, — он уже рублей на двести, наверное, накопил.

Пока Витек возился с магнитофоном и выбирал кассету с подходящей записью, перематывал ее, ища какую-то определенную песню, Марина разлила польскую водку «Черная смерть» себе и Грише: «За знакомство!»

Хозяин еще где-то полчаса бегал из комнаты на кухню с непотушенной сигаретой, которую Маринка с руганью у него вырывала (ковер прожжешь, придурок!), выпивал водки и обещал, что поставит сейчас очередную крутую композицию, от которой все попадают. А затем как-то ушел и не вернулся — уснул на полу около магнитолы с потухшей сигаретой в зубах.

Марина, слегка пошатываясь, убрала со стола лишнюю посуду, затем встала перед Гришей и обвила его руками. Пьяненький, отвыкший от женского, дембель не в силах был сопротивляться, да и зачем? На следующий день Витек позвонил, извинился, что рано вырубился и не успел предложить главного: «В нашей клинике вакансия медбрата есть, требуется крепкий, спортивный, типа тебя, ты ж борец, приходи завтра на собеседование».

График был относительно свободным. Иногда они работали в одну смену, иногда одноклассник просил друга подмениться, чтоб сходить на очередной концерт. В рабочие смены Витька Гриша заходил к Маринке, и они молча занимались сексом. Примерно за полгода до гибели Виктор с Мариной поженились. Это, впрочем, никак не сказалось на ее встречах с Гришей.

— Как ты думаешь, почему его убили? — Марина и Гриша снова переместились на кухню, она разлила водки. Не чокаясь, выпили: девятый день.

В бытовую версию убийства она не верила, хотя все указывало на это. В тот день Виктор отоварился в магазине клиники, купил дефицитных продуктов и блок импортных кассет, за что должен был получить взбучку от жены. Нес покупки в прозрачном целлофановом пакете. Гриша застал его на работе, когда тот собирал пакет, но около трупы покупок не обнаружили. Также с Витька сняли американские джинсы и кроссовки, а вот модный турецкий джемпер не тронули — он был испачкан кровью. Витек был задиристым парнем — другой бы отдал грабителям пакет и остался жив, — а он, видимо, отказался и полез драться.

Гриша понимал, что, скорее всего, все так и было. Не раз приходилось вместе с одноклассником отбиваться от шпаны, которую сам же Витек по пьянке, бывало, и задирали. Однако почему-то в голову упорно лезли мысли, что убийство как-то связано с одним из пациентов их клиники.

Случилось это за месяц до трагедии. Привезли какого-то странного азиата с голым черепом, розовыми свежими шрамами. Пациент как пациент — то ли передозировка, то ли отравление, то ли травма — сказать ничего не может, глаза стеклянные, мычит только. Виктор в тот день дежурил с Гришей и стал как-то странно себя вести. Обычно сидел в дежурке, слушал плеер, приходилось его подпинывать, чтоб начать уборку, процедуры, а в этот день за час раз десять бегал до нового пациента. То спросить что-то пытался, то музыку ему давал послушать, то просто глядел на него так, как будто загипнотизировать хотел.

— Гриня, похоже, это он, — наконец после смены в каком-то странном возбуждении общился Виктор. Гриша вопросительно поднял брови.

— Это Цой! Точно тебе говорю.

Грише это имя почти ничего не говорило. Он слышал что-то о нем то ли по телевизору, то ли от Виктора, но как-то не удержал в памяти кто это — артист, рокер, мастер китайских единоборств?

— Надо ведь, наверное, куда-то сообщить! Не знаю, в газеты там или на телевидение, — между тем начал строить планы Витек по до-

роге домой, — это же сенсация. Хотя, наверное, на слово не поверят, надо его сфотографировать (вот!) и фотки послать. У твоего отца же был фотоаппарат?

— Не вздумай! — Гриша остановился, чтоб привлечь внимание Витька, который вышагивал как на шарнирах, активно жестикулировал и был поглощен своими грандиозными замыслами. — Мы подписку о неразглашении давали. Тебя попрут, и меня за компанию. Где ты еще такую работу найдешь? В киоск продавцом устроишься?

Витька с досадой покивал головой — да, не вариант. Молча подошли к дому, машинально попрощались — соседа его открытие никак не отпускало, но явно не знал, что с ним делать. Вплоть до своей гибели он каждую смену донимал лысого азиата разговорами, показывал ему вырезки из журналов, фотографии, включал песни, записывал его на диктофон, затем давал послушать записи Грише. Ему казалось, что в мычании проskalьзывают отрывки каких-то известных мелодий.

— Марина, смирись, это было ограбление, — Гриша не стал ничего рассказывать про пациента, чтоб в голове у женщины не рождалось новых версий, разлил снова водки и неожиданно спросил: — У тебя есть крапка и кисточка?

Слегка пьяный, Григорий вышел от Марины с пакетом, добрался до вокзала, сел в электричку и долго-долго ехал. Добравшись до Москвы, сел в метро и доехал до Арбата. Прошел к дому №37. Там группами тусовались молодые люди с грязными волосами, курили, что-то выпивали. На стене кто-то написал: «Сегодня погиб Виктор Цой. Мы будем уважать тебя!» Гриша уверенно достал из пакета кисть, банку с краской и огромными буквами дописал: «ЦОЙ ЖИВ». В будущем за всю свою карьеру Григорий Владимирович придумает много слоганов, тезисов и девизов для запуска их в массы, но ни один из них не станет таким всенародным, как этот.

— Думаешь?

К Грише подошли девушка с парнем и прикидывали, как на надпись реагировать.

— Знаю, — обрезал Гриша.

Парочка вдруг расплылась в улыбке:

— Как же ты прав, чувак. Цой действительно жив в наших сердцах! Выпьешь за Витю?

— За Витьку, разумеется, выпью.

Много лет спустя Григорий Владимирович, будучи уже вице-губернатором по внутренней политике, взял школьный портфель сына (с утра перед занятиями тот ходил на тренировки), чтоб привезти к началу занятий, и решил прокатиться на общественном транспорте. Губернатор обязывал своих подчиненных иногда выходить в народ, чтоб они знали, чем дышат и что обсуждают простые люди.

В автобусе было душно. Какая-то бабка ворчала, пытаясь справиться с надорванным пакетом, из которого то и дело вываливались продукты. Григорий Владимирович встал над мамашей, которая уткнулась в смартфон и с умилением лайкала фоточки детишек своих подруг, иногда писала комментарии типа «какая милота!», «подруга, у тебя чудный малыш!». Рядом с ней у окна сидел ее трех- или четырехлетний сынишка и явно скучал. До окошка он не дотягивался и видеть сменяющийся ландшафт не мог, а потому приставал к маме с вопросами. Мать отмахивалась, дергала его за руку и шипела: «Ты не видишь, я занята, не можешь посидеть спокойно!»

Григорий Владимирович с мученической гримасой неодобрения перевел взгляд на ландшафт за окном. Не то чтобы ему не понравилось поведение матери, подменяющей виртуальными суррогатными эмоциями живое общение с сыном, просто голову пронзила резкая и дикая боль, как будто сквозь череп пропустили ток. Где-то за окном промелькнул забор с граффити: «В память о коте Шредингера, пострадавшего от квантовой механики», «Цой жив», «Марина, не трогай тромбон!» Хаотичные картинки в пространстве вокруг него вдруг стали образовывать смыслы. Вот и у пенсионерки с овощами пакет окончательно порвался и то ли по полу автобуса, то ли от правого виска к левому тяжело прокатился кочан капусты. Григорий Владимирович уронил портфель сына, из которого тут же выпали пенал, учебники, и хотел ослабить хватку ворота рубашки, но рука не поднималась. Он вдруг перестал пони-

мать, сколько места занимает в пространстве, а оно стало заваливаться за горизонт событий. Во рту появился тревожный и солоноватый привкус крови.

Так, так, так. Если перед смертью я вижу все настоящее и подлинное, что у меня было, то какая-то не очень содержательная жизнь

получилась — промелькнула в виде почему-то приятных до эйфории ощущений, но не оформленная в слова, последняя мысль Григория Владимировича. «Тромбон превратился в оторванный тромб», — попытался он пошутить склонившимся над ним пассажиром, но никто в его мычании слов не разобрал.

Селим Эсилов

Фаюмские портреты



ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ. ДОСКА ИЗ ЭЛЬ-ФАЮМ

Когда в глазах твоих, наполненных любовью,
Покой, ответ и вера в то, чтобы
Тебя навек взаимная вот-вот любовь
Настигла,
Сосуд наполнился, пришло благословенье.
На дремлющем твоём лице
Одна черта, не вспомненная воском.

И вспомнить бы, что целый день тебе
В груди тянуло, и, как будто...
Гнев.
Ах да, та девушка, та самая, почти девчонка,
Та в толчее филадельфийского базара,
Супруг твой обронил: «Как молода»,
Идущей вам навстречу...

Ты вздрогнула во сне, протрепетали веки
Тем знанием, что будущий твой век
Сорвётся как поток, как будто водопад,
Несущий не в тебя живую влагу,
А иссякающий из глаз твоих, озёр твоих,
Сквозь дно.
Ты и не знала никогда, что есть оно.

Всё та же ты. Мир, кажется, всё тот же
Текут в тебе ручьи, колышется тростник,
Но глаз с тех пор теперь не закрываешь,
Прикроешь, но...
Под нижним краем черного зрачка,
Со дна зеркал белеет полукруг,
Он больше с каждым днём, светлее каждой ночью.

И первая приходит смерть к тебе,
Перерезая трещиною русло.
Как раньше, не уснуть. Бессонно ждать второй,
Последней, что твою бинтует рану
Перед лицом иных тысячелетий,
Лицо оставит зеркалу доски
В бессмертие обмакнутая кисть.

О чём теперь, доска из Эль Фаюм,
Быть может, ты сейчас захочешь говорить?
...я вижу грустный взгляд и то, что он таит,
Ложась пчелиным воском и золою.
Рука художника. Последние мазки.
К тебе, всегда живой и настоящей,
Античное «O tempora...». О да,

Из двух смертей в одной,
В последний миг,
Когда горит твоя трахея так,
Что даже воды всех морей и холод льдов
Не утолили б эту жажду, этот жар
И тихое желание твоё,
Которое не вышептать словами.

Кто хочет знать,
Кто сможет отделить...
Пески текут.
Живая на живых,
Глядит она,
Та женщина, что умирает дважды.
В последний — не страшась...

Восточный Крест ищи и Киносуру,
Ищи в небесных россыпях, вернее
Нет, не было и вряд ли будет маяков.
Качается самбука на волне, косые
Кивают отраженью паруса.
Везущий пряности, шелка и мирру караван
Ступает мерно, спят верблюды, караванщик
На небо смотрит, перелистывая вечность.

Секреты глиняных растворов, чертежи
Величественных храмов Абидоса
В пергаменты впечатаны слоями.
В Александрийском мусейоне, в тишине
Ждут взгляда, и их больше не коснется
Обсидиановый скребок в несильных пальцах,
Лишь память остается на полях.

Память о том, как юноша в чалме
Ливанский ранит кедр и собирает в плошку камедь,
Чтобы смешать с толчёным углем чеменеи.
И новые слова на палимпсест
Иная нанесет рука. Когда, зачем?..

В хранилище покой и тишина.
Лишь сквозь подпотолочное окно,
Втекающая, застывает трагакантом
Вечерний свет и золотит затылки дев.
Следит улей,
С пергамента уходит что-то
И что-то проступает в глубине.

Что? Антрацитовый летящий силуэт
И имя Зубейда, сурьма и киноварь,
И глубже, в уголке торговцев, имена,
Список покупок к свадьбе, расчеты — мелко.
Отец не тратил зря пергамент, и над ним
Горел Восточный Крест,
Светила Киносура.

ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

Сентябрь
праздничной хлопушкой с конфетти взорвался листопад.
Резкий ветер с Каспия рвёт оцинкованную жесть крыш,
Стучит по стропилам и балкам не в такт ударам сердца.

Дары лета собраны, Шамайя.
 Ночью промозглой влагой напиваются простыни.
 Сегодня — последний раз.
 Завтра она встанет,
 Соберет по-дорожному волосы, закроет ставни,
 Кликнет Джамалдина
 заколотить старыми досками дверь,
 Посмотрит, как серый осенний туман поднимается с моря.
 Сентябрь.
 Джамалдин, прикусив сигарку, глядит ей вслед,
 Улыбается уголками губ,
 Смотрит туда, где женщина Гамзатовского возраста
 Расставляет по полочкам солнечное варенье,
 Желе цвета заката над морем.
 Резьба жестяной крышки сдавливают стеклянное горло,
 Застывает брусничный конфитюр.
 Холодной и длинной будет зима, Шамайя,
 Холодной и долгой.
 Всего-то и останется: песочный штрудель с джемом,
 Шарлотка с яблочным повидлом вечерами,
 По выходным — театр «Дарго» и ожидание.
 Будет и новое лето, Шамайя,
 Новое, цветочно-яркое, ягодное лето
 На Каспии.

ОЛЕНЁНОК

Степь замирает к полудню, дрожа двоекратно.
К. Анкудинов

Безвозвратно лето своё отмерцало,
 Зной истекает в трещины корки такыра,
 В прошлые ясли.
 Где-то его колыбель,
 Может быть, там,
 Под пылающим северным сводом
 Холодных небес,
 Ещё качается, остывая.

Кутаясь в плащ облетающий
 После бабьего лета,
 В городе осень приходит в парки
 Мимо стекла и бетона,
 Крутит скрипучие карусели в танце Анитры,
 Словно сбивая пахту молочного неба в снежинки,
 Качает пустые качели
 У дома на детской площадке.

В тундре осень вдыхается запахом
Мокрого ягеля, запахом тины.
Кожа твоя холодна, покрывается дрожью,
Как сопки над магмой Камчатки.
Трогаю пальцем каплю
Растаявшей первой снежинки,
Юной важенки запах
Слышу в твоих волосах.

ЛИМБ

Кто придумал игры с бездной? Кто затеял этот танец?

Поль Верлен

Я в этих белых храмах, в белых облаках,
над их мирами голову держала.
Ты, где-то в глубине, под отраженьем,
искал меня,
Найти меня не мог.
И там, и там дрожали миражи
И растекались смутными тенями,
Невыносимого коснувшись рубежа.
Я ниже белой мглы свой взор не опускала,
Ты не срывался мне навстречу в небеса, –
Чтобы не разминуться в этом «между».
Лишь кончиками крыл с тобой касались,

И только так, казалось мне,
Что я тебе
Близка.
Я – в облачных своих глубинах,
Ты – в той своей подводной вышине,
Мы заперты, не вырваться друг к другу,
Не одолеть бушующих стихий,
Тебя сразивших на пути ко мне,
Прахом меня развеявших по ветру.
Мы крыльями с тобой...
Мы вечно, вечно
С тобой на расстоянии крыла,

Чуть ближе – и тебя... меня не стало.
Не стало в этих дымных городах.
На улицах в домах, я в эти двери
Заглядывала тенью, столько лет
Незримо и неслышно проникала,
Тебя искала я и не нашла,
И не найдя тебя, заледенела.

И снова с облаков бросалась вниз,
Опять разбить пытаюсь отраженье,
Бессильно била по воде крылом,
Безудержные волны рисовала.
Так не должно быть, ну, а как должно?..

Я, видевшая мир через тебя,
Проснулась и прозрела.
Я — одна...
Сорвусь в разверстую...
Оставлю облака
И тысячей осколков, острых градин
Взломаю отражение небес
И кану в воду, буду там, где ты
Искал меня, где я тебя любила,
Лишь одного тебя любила,
Лишь тебя.

Любовь Соколова

В сумерках



Пролог

Темь на Таме

Город Темь на реке Таме происхождение имеет самое заурядное, почти не отразившееся на ходе мировой истории. Прошла мимо него и мировая культура, не зацепившись ни взглядом, ни башмаком. Сами темчане точно сказать не могли, когда и откуда взялся их город, основанный будто еще при царе неким горным инженером, обнаружившим большие запасы медной руды в логах, нарезавших неровными ломтями высокий берег Тамы. Вы-

вод о запасах руды оказался ошибочным, промышленной добычи здешняя залежь не выдержала, истощилась. Но замешанный на конфузе посад устоял и, претерпев значительные трансформации, к середине XX века вырос в непритязательный областной центр индустриального типа. Слепленный из деревень и починков, тюремных зон, железнодорожных станций, скитов и барачных поселков, город Темь протянулся вдоль Тамы на десятки километров унылой промзоной.

Здешнее небо всегда было расчерчено дымами, на деревья порой оседала едкая взвесь, причина ранних листопадов и пре-

ждевременной смертности среди населения. Темь была секретнее прочих городов, поэтому ее не обозначали на географических картах в школьных атласах, а статистика онкологических заболеваний, выявленных у жителей Теми, не публиковалась даже в специализированных изданиях. Медики объясняли малую продолжительность жизни темчан естественными причинами, прежде всего природными условиями. Климатические характеристики региона и вправду оставляли желать лучшего, но пятнадцатипроцентная надбавка к зарплате искупала неудобства, связанные с долгой зимой и коротким обманчивым летом. «Зато места у нас грибные!» — хвалились здешние люди в ответ на сетования приезжих по поводу погоды. Приезжими тут бывали рыночные торговцы с юга и направленные по распределению молодые специалисты. Южане делали тут хорошие деньги, а молодые специалисты быстро усваивали мировоззренческие особенности и за три года полностью сливались с фоном, если прежде не решались на побег. Принятая тут система ценностей подкупала простотой и абсурдностью.

Помимо грибов темчане бездумно гордились самым большим в Европе (а то и в Америке!) новым кладбищем, хотя предпочитали хоронить близких на старых погостах, покупая взятками разрешения на погребение в семейных оградках. На новом кладбище ни церкви, ни часовенки. Впрочем, в советское время темчане мало интересовались Богом. Религию заменяли им уверенность в завтрашнем дне и твердое знание, что живут они других не хуже, а ровно как все, если не брать в расчет москвичей и ленинградцев. Ленинград заслужил хорошее снабжение, пережив блокаду, а Москва — столица, там надо марку держать перед зарубежными гостями. Если в Москве будет как в Теми, что подумают о советской жизни иностранцы? Что расскажут? Ничего хорошего!

Каким бы заурядным ни казался город Темь, река Тама искупала изъяны и перекрывала с избытком все его недостаточности. Благодаря Таме горожанам было на что посмотреть со своего высокого берега. Летом —

на теплоходы и баржи. Зимой — на ледяные торосы по берегам и огромные промоины над речными быстринами.

На рубеже тысячелетий зимы на Таме вдруг стали мягкими. Лед истончился и вовсе перестал перекрывать реку, ограничиваясь широкими берегами. Никто не заметил толком, как прекратил работу Темский речной порт, закрылось пароходство, и однажды весной на Таме вовсе не открылась навигация. Один за другим стали умирать заводы. На месте цехов разворачивались гипермасштабные торговые площади, логистические структуры и бизнес-центры, Город перерождался.

В советское время обитателей Теми, поглощенных заботами о ежедневном пропитании, о личных привязанностях и обустройстве быта, мало тревожили мысли о прошлом и будущем. Прошлое было преодолено, а будущее определено. Когда начались перемены, думать стало некогда — едва успевали крутиться.

А потом пришло время желанной стабильности, и, оглядевшись, каждый пытался понять: где я, с кем я, куда? Теперь будущее тревожило до испуга, а прошлое стало по меньшей мере спорным. Переход Теми из одного состояния в другое вместил в себя события, происходившие на протяжении лет пятидесяти, скажем, с 1968 по 2018-й.

Часть первая

Глава первая

Пишущая машинка «для студента»

В самом низком месте набережной стоял, повернувшись одним фасадом к воде, другим — к троллейбусной остановке, Темский речной вокзал. Короткая северная навигация закончилась еще в сентябре, но Кирилл с Мишкой регулярно встречались на берегу. Ходили пить пиво в ресторан на речном вокзале. Ресторан, в отличие от вокзала, работал круглый год, пиво тут не переводилось, и при-

ятели посещали заведение по крайней мере дважды в месяц — отмечать аванс и окончательную. В этот раз они засиживаться не стали. Дело начиналось серьезное. Раньше только слова были, а теперь, наконец, дело. Спустившись из ресторана в гулкий помпезный вестибюль, безлюдный в это время года, оба, не сговариваясь, повернули на выход к реке, посмотреть на Таму. Здесь, на продуваемой сырым октябрьским ветром террасе, Кирилл рассказал Мишке анекдот — короткий, как он любил, и мрачный, как у него вечно получалось. Нам, говорит, не ввали, когда впаривали, будто счастье не за горами. Ага! Мы перешли горы — счастья там нет.

— Всё?

— Всё.

— Когда смеяться? — спросил Мишка. На его смуглом лице с крупным носом, большим ртом и широкими скулами не нашлось ни намека на улыбку. Он скептически растянул плотно сжатые губы, поставил короткие брови домиком и сверху вниз глянул на товарища, тонкого и бледного, как персонаж рассказов Короленко про детей подземелья.

— Смеяться необязательно, — разрешил Кирилл и, глядя на парапет, отделявший нижнюю террасу берега от темной воды, повторил: — Счастья нет за горами!

Мишка кивнул:

— Счастье в горах. Пошли!

Они обогнули здание и, переходя на бег, устремились к остановке. Троллейбус уже тронулся, но притормозил и, принимая на борт, обхлопал их ладошками автоматических дверей.

Ехали не садясь, в пустом салоне, открыв себе по-честному в механической кассе билетки за четыре копейки каждый.

— Оплачивайте за проезд, приобретайте билеты в кассе, — прокрипела в микрофон женщина-водитель. Призыв «оплачивать за проезд» — это неискоренимый профессионализм, сродни морскому «компАсу».

Оба пассажира помахали в сторону кабины билетками, водитель успокоилась и больше не скрипела. Остановок она не объявляла. Кому надо, знают и так: в окно-то видно, где едут.

Качало. Мишка, в расстегнутом полупальто, напоминавшем бушлат, стоял, широко расставив ноги, перегородив проход. Кирилл, раскинув руки, оперся спиной о поручень на задней площадке. Молчали. Натужно гудел двигатель, пока поднимались с набережной в гору, к площади некогда Соборной, а теперь вроде бы вовсе безымянной. Собор остался на месте, в нем давно обосновался художественно-краеведческий музей. Там же, на площади, начинался главный проспект. Отсюда троллейбус покатился вниз. На третьей остановке они вышли, каждый из своей двери. Стайка пассажиров билась снаружи о пустой салон. Резвая мамашка, тянувшая за собой девочку лет шести, юркнула под руку Мишке, ткнула его в бок, стараясь выпихнуть поскорее, чтобы заскочить в троллейбус первой и занять место получше.

— Да шевели ногами, Тома! — поддержала она зазевавшуюся дочь.

Мишка чертыхнулся и, не оглядываясь, зашагал на другую сторону улицы. Кирилл еле догнал его. Остановились у черного хода мастерской, расположенной во дворе жилого дома, обращенного оштукатуренной светло-зеленой стеной на проспект. Краснокирпичная изнанка здания с табличкой «Дом образцового быта» выглядела по сравнению с фасадом ободранной. «Образец» от собратов практически не отличался. Мусор, сложенные ящики, две колченогие скамейки и заплеванной окурками газон — всё как у всех.

— Нам сюда, — указал Мишка на ступеньки вниз, в «ямку», и пропустил товарища вперед.

В таких «ямках» размещались булочные, овощные магазины и мастерские по ремонту обуви. Филенчатая дверь, крашенная когда-то в синий цвет и обшарпанная местами до олифы, скрывала за собой еще одну, металлическую, с разбитыми вдребезг замочными скважинами и двумя накладными фанерными заплатами, из которых выглядывали вполне рабочие червоточины современных французских замков. Дверь смотрелась тяжелой. Смущало отсутствие ручки на ней и надпись краской «Не стучать!». Кирилл замялся, соображая, как бы дверь подковырнуть. Ощупал край — ничего не нашел.

В своем длиннополом пальто, с многократно намотанным на шею шарфом, свободные концы которого спускались до колен, Кирилл выглядел настолько инаком, что даже контролеры в транспорте не всегда спрашивали у него билет, а если и спрашивали, то без надежды на оплату штрафа. Манера одеваться не соответствовала ни текущей, ни прошедшей эпохе, благодаря чему наряд никогда не выходил из моды, а природная сухощавость — жир и мясо медленно нарастали на его теле — позволяла Кириллу носить одно и то же в течение долгих лет.

Кирилл смахивал сразу на всех мятущихся и неприкаянных литературных героев, пальто его вполне могло оказаться перелицованной шинелью гоголевского чиновника или фуляром нелепого чеховского человека. Гоголя советский читатель держал за мистика, героев Чехова знали немногие, а понимали вовсе единицы. Поэтому любой русский, будь он хоть татарин или калмык, подсознательно воспринимал внешность Кирилла как визуальное проявление Достоевщины. Да ведь и Достоевского-то население в массе своей читало нетщательно. Курс средней школы знакомил каждого со студентом Раскольниковым. Троечники читали роман в кратком изложении, запомнили только: был главный герой худ, бледен и задумчив, носил что-то длинное. Прозвище «Студент», накрепко прилепившееся к Кириллу еще в ПТУ, где он постигал профессию токаря, доставляло ему удовольствие. Его не смущал окровавленный топор в подтексте. Ценность имело стремление литературного героя порвать с рутинной и решительное отмежевание от гегемонов-рабочих, от колхозного крестьянства и заодно от вялой трудовой интеллигенции. Кирилл даже подумывал переменить имя на Родион. Но не стал. Выпадающий из общего строя образ и без того приносил кое-какие бонусы. Кириллу, например, всегда доливали пиво и никогда не обвешивали в продукто-вом. Имя не спрашивали, так ради чего хлопотать?

Инакость, конечно, оборачивалась и темной стороной. Всякое мелкое и покрупнее начальство, которому попадался на глаза Ки-

рилл, реагировало на архетип бунтаря-одиночки, способного задуматься, тварь ли он дрожащая. Они впадали в тоску либо в ярость, безошибочно считывая чужой код в его облике. Человек с нестриженными волосами и ясным взглядом, устремленным куда-то мимо собеседника, наделенного кое-какой властью, вполне мог на досуге играть джаз, а ведь «сегодня он играет джаз, а завтра...». Хромая рифма Сергея Михалкова, в начале шестидесятых связавшая музыкальный жанр с предательством Родины, навсегда сковала мозг каждого мелкого функционера, состоявшего в нерушимом блоке коммунистов и беспартийных. А тут уже и семидесятые надвигались с неотвратимостью победы развитого социализма.

Кирилл не грубил начальству, не нарушал, не требовал. Он размышлял: почему беспартийные не выставляют своего собственного кандидата на выборах в городской Совет, в районный Совет и в Верховный Совет СССР? Его, абсолютно беспартийного, не устраивала неизбежность состояния в блоке с коммунистами. «Допустим, руководящая роль у партии. Ладно. Не претендую. Но почему следует держаться с ними, с партийными, в нерушимом блоке?» — рассуждал Кирилл сам с собою. Трезво оценивая свои шансы переломить ситуацию, он склонялся к компромиссу. В бесконечной трепотне с Мишкой обронил как-то:

— Пусть бы руководили, а мы бы жили сами по себе, не смешиваясь.

Друг обозвал его оппортунистом, пораженцем и троцкистом.

По вторникам для первой смены в цехе проводили политинформацию. Кирилл спрашивал, с кем еще, кроме коммунистов, можно вступить в блок беспартийному человеку, и нельзя ли действовать как-то отдельно.

— Нельзя, — сдержанно отвечали ему вышестоящие товарищи.

Товарищи буквально располагались выше — на подиуме, где заседал президиум любого мало-мальски значимого собрания. Они либо стояли, либо сидели и притопывали ногой и постукивали карандашом по столешнице.

— А профсоюз? — не унимался Кирилл, вынуждая тем самым дежурного политинформатора материться прямо с трибуны.

— Ты чё, тупой? — спрашивал политинформатор.

— Нет, — честно отвечал Кирилл.

— Тебе чё, больше всех надо? — кипел несчастный лектор, стискивая руками фанерный обрубок трибуны, установленный на плюшевой скатерти.

— Хотелось бы.

— Иди... иди отсюда на ...! — И, багровея до корней волос, вслед, будто припечатывая свинцом поганца: — Профсоюзы — школа коммунизма! Коммунизма!.. Черт побери! Сбил. На чем я остановился? Ага, президент Джонсон обязан был прекратить войну во Вьетнаме. Нет же, блин. Не то. Ага, вот, сейчас. Сбил меня с толку, сука. Извините, товарищи, но просто ж зла на таких не хватает. Я ж готовился про международную обстановку, а он на тебе...

Кирилл, не дослушав ругню, вставал и, поправив неизменный шарф, уходил из красного уголка, запинаясь о ножки стульев.

Печать интеллекта на его лице никак не соответствовала формальному уровню образования и социальному статусу. «Студент» работал токарем на часовом заводе. Никаких часов завод никогда не выпускал. Но так говорили, причем вновь поступающих с порога учили так говорить на инструктаже пожилые дядьки из «первого отдела». Не ради лжи, а во имя сохранности государственных секретов. Завод выпускал продукцию, в составе которой имелись очень точные детали хитрой конфигурации. Например, подвижная металлическая сфера внутри другой сферы, в каждой отверстие, а через эти отверстия неразъемная сферическая деталь взаимодействовала с другими частями какого-то механизма. Токарь, способный изготовить такую штуковину, ценился на вес золота. Эквивалентом золота служил спирт. Спирт в цех выписывали для производственных нужд канистрами. За пять-шесть лет выдающийся токарь стачивался в ноль о мотивирующее вознаграждение. Кирилл от употребления спирта внутрь отказывался, его считали подозрительным и уговаривали вступить в ком-

сомол. Кирилл пожимал плечами и обещал подумать, если ему официально разрешат выносить премиальный спирт за территорию завода. Не разрешали. Вот он и не вступал.

— Подумать надо, — сказал он Мишке, переминавшемуся за спиной.

— Пока думать будешь, заметут. Может, они срисовали нас уже. — Мишка с тревогой посмотрел на окна первого этажа. Нет, вроде, из окна вход в «ямку» не просматривается, но стучать в дверь все равно нельзя.

— Тебе ж мать говорила...

— Говорила не говорила, она, может, не всё знает, говорит не всё. Я ведь не про всё спрашиваю. Потому что не дурак!

Мишка подобрал с земли железяку, отеснил плечом Кирилла и подцепил плоским концом дверь без ручки. Дверь поддалась. Внутри пахло машинным маслом, горячей канифолью, железом, обувным кремом и еще чем-то вроде бумажной пыли. За конторкой сидел внимательный старичок, откинувший со лба закрепленную на голове лупу, чтобы разглядеть вошедших через обычные очки. Затем он и очки снял.

Кирилл остановился перед мастером, поздоровался и замолчал, будто предоставив спутнику сделать следующий ход. Ему не нравилась и придуманная версия, и необходимость лгать претила.

— Нам бы это... Машинку печатную... Пишущую... Для реферата, — и Мишка качнул головой в сторону товарища, обозначив, кто будет писать реферат.

— Студенты? — понимающе вздохнул старичок.

— Ага. Он, — Мишка опять указал на Кирилла, неспособного самостоятельно врать.

Скулы сводило от досады. Ведь заранее обо всем условились: какой факультет, какой вуз, чтобы не спалиться на деталях, а молчит.

— Так, значит, вы студент? — уточнил старичок, напирая на «вы».

Кирилл кивнул, поджав губы.

— В аренду или купить намерены? — старичок теперь обращался прямо к Кириллу.

— Покупать, — отозвался Мишка. — Деньги есть.

— Какой объем работы предполагается?

По узким щекам Кирилла к вискам побежали красные пятна. Он не смотрел на собеседника, только возвел взгляд к потолку и неопределенно покачал головой.

— Сколько экземпляров рассчитываете получить с одной закладки? — уточнил мастер.

— Чем больше, тем лучше, — отозвался Мишка.

Кирилл обернул к нему лицо с гримасой негодования. Тот и сам сообразил, что вопрос провокационный. Все трое замолчали. Мастер встал, пошел вдоль стеллажа с машинками, рассматривая каждую и, похоже, прикидывая, какую цену запросить.

— Эти все в ремонте? — Мишка испытывал неловкость, когда молчал. Звук собственного голоса придавал ему смелости.

— Есть в ремонте, есть на продажу. Владельцы сдают, как правило, убитые аппараты. Восстанавливаем. Порой сюда попадают машинки в хорошем состоянии. И очень интересные экземпляры. Только новых нет. Но за новой-то вы отправились бы в магазин. Деньги есть, — нарочно скопировал мастер недавнюю реплику Мишки. — Вам нужно, как я понимаю, подобрать особый экземпляр.

Он подумал и осторожно вышел в другое, смежное помещение. Там что-то переставлял, временами побряхтывая, и, наконец, вынес аппарат, обернутый тонким брезентом. Развернул, бережно развязав бечевку. На шильдике парни увидели непроизносимое название — набор латинских букв, искаженных до неузнаваемости затейливым шрифтом и умляутами. Старичок взял клочок бумаги и начертал: «Hedöny».

— А прочитать вслух можете? — подал голос Кирилл.

— Как это читается? — торопил Мишка.

— Не решусь предложить свой вариант транскрипции. Слишком витиеватый язык. Самый сложный из европейских языков — венгерский!

— Откуда вы знаете? Знаете, что это венгерский?

Мастер пропустил мимо ушей Мишкин вопрос и продолжал, обращаясь к Кириллу:

— На самом деле неважно, что написано на фасаде. Аппарат, поверьте, от станины

и до последнего винтика — это «Ундервуд» с двадцатой кареткой. Выпуск годов этак... — Он сделал паузу, как бы прикидывая, а на самом деле предвкушая эффект. — Первая мировая еще не закончилась, во всяком случае до восемнадцатого года. Австро-Венгрия, была такая империя, рухнула вслед за Российской. Раскололась на куски. — Мастер сделал жест, будто уронил на пол вазу. — Аналогичные машинки собирали в Европе после Первой мировой из американских комплектующих. Что касается именно этого экземпляра, я думаю, под такой маркой после восемнадцатого года их не выпускали, а учитывая экономическую ситуацию, можно предположить, что последние образцы поступили в продажу году в тыща девятьсот шестнадцатом.

Насладившись произведенным эффектом, мастер добавил самое важное:

— Шрифт русский. Позволяет получить в удовлетворительном качестве четыре копии.

— Русский?

— Да, русский, — мастер говорил тихо, будто шелестел, но отчетливо расставлял смысловые акценты. — Перепадный. Не зарегистрированный в органах.

— Сколько? — спросили хором.

— Сто пятьдесят рублей, — так же тихо, но твердо назвал он цену товара. Пересчитав выданные Мишкой купюры, добавил: — Если будет необходимость перепасть литеры — обращайтесь.

Машинку погрузили в заплечный мешок, нарочно выложенный внутри картоном, и, не оглядываясь, пошли прочь от мастерской. Сначала петляли дворами. Убедившись в отсутствии слежки, вышли на проспект, свернули налево и мимо новой городской бани двинули к детскому парку, а там рукой подать до Мишкиного дома. Октябрь выдался хмурый, сухой и холодный. Ветер нес по низам пыль и последние сухие листья, тянуло паленым мусором — дворники спешили до снегопадов ликвидировать след, оставленный прошедшим мимо города летом. Оно в тот год не задалось.

— До Покрова снег выпадет, так и на Казанскую ляжет, — сказал Кирилл. — Пахнет снегом-то.

— А нам-то пофиг, — весело отозвался Мишка, ощущая спиной тяжесть счастливо добытой машинки. — Нам бы только успеть наклепать штук пятьсот прокламаций. Казанская — что за зверь?

— День такой, посвящен иконе Казанской божьей матери. Накануне седьмого ноября празднуют в православных церквях.

— Откуда ты все это церковное знаешь и в голове как-то удерживаешь? Я вот некрещеный даже.

— Зато комсомолец!

— Ну, так-то да, комсомолец, но ведь не учу наизусть заповеди или как там их, принципы демократического централизма. Во! Знаю, как называется! Еще знаю, что Ленин завещал учиться, учиться и учиться. Речь сказал на съезде комсомола: три раза «учиться» — вся речь. Просто, понятно, и образование сделал бесплатное. Всё четко. Страна поголовной грамотности. Самая читающая в мире. А с церковными делами, если тебя послушать, большие заморочки. Покрова какие-то на казанскую.

Кирилл усмехнулся, спорить не стал, сменил тему:

— Не получится пятьсот листов напечатать. Сегодня уже десятое. Кто печатать-то будет?

— Мы с тобой по очереди!

— Нет, не успеем. Хоть бы штук триста сделать.

— Ладно, триста хватит. Для начала, — согласился Михаил, прикидывая про себя, как увеличить производительность, потому что триста — мало, надо пятьсот, чтобы в красный день календаря 1968 года город Темь вздрогнул и вдохнул полной грудью большой глоток свободы.

Глава вторая

Братья Крайновы — полковничьи дети

Бумагу и самое важное — копирку — закупали месяца два в разных магазинах, потому что покупать бумагу, и особенно копирку, небезопасно. Люди из «комитета» могут отслеживать закупки. Мать рассказывала. Она с удовольствием рассказывала о своей работе, будто еще надеялась увлечь сыновей, упорно друг за другом выбиравших стезю, никак не связанную с профессией родителей. Так вот, за бумагой ездили в область, чтобы не примелькаться у местных продавцов. Рассчитывали, соблюдая конспирацию, продержаться год, а то и полтора. Потом либо заметут, либо придется залечь на дно. Закупками занимались пятеро: сам Михаил Крайнов, его брат Веник, Кирилл Медников и еще двое надежных ребят.

Складировали в квартире у Мишки. Он как женился, поселился отдельно от родителей. Мать с отцом подарили своему первенцу начальный взнос и членство в жилищном кооперативе. Дом сдали буквально через полгода после свадьбы. Роскошный подарок. Мишка и жениться-то поспешил, зная, что мать на службе бьется за право построить квартиру и вот-вот добьется.

Клавдия Федоровна работала в областном управлении КГБ. Отец, Филипп Георгиевич, служил хирургом в гарнизонном госпитале. Оба полковники. Жили в центре города, в квартале, построенном пленными немцами. На самом деле строили квартал итальянцы и японцы, но принято было называть их немцами, потому что страна одержала победу над Германией, а союзники Гитлера попали



под раздачу заодно. Хорошее жилье строили. Квартира из трех комнат и кухни, а при кухне еще комнатенка денщика, вроде кладовка, но с окном. Мишка эту каморку захватил, не стал с братьями жить в одной спальне. Когда женился и отделился, в денщиковую въехал младший Крайнов — Вениамин. Средний брат Яша учился в музыкальном училище по классу скрипки. Спальня мальчиков после всех перестановок обрела статус музыкального салона. Странный получился средний сын Крайновых — будто подкидыш. Родители-полковники за него переживали: как бы не поддался влиянию буржуазной культуры. Бывало, объявят по радио «Передаем легкую инструментальную музыку», мать включит погромче и следит, какая будет Яшина реакция: поддается влиянию или не поддается. Прямо спрашивать избегала, чтобы не обиделся и не замкнулся.

Веник, самый младший из Крайновых, во всем походил на Михаила, только ростом чуть выше и будто более точным инструментом сделан. Горячо поддерживал он опасные затеи старшего, мотался по области с его поручениями, а порой и ночевал на оттоманке в кооперативной хрущевке брата.

Жена Михаила Света от свекрови ни ласки, ни уважения не добилась, хотя старалась угодить на первых порах от всей души. Свекор и Яша будто вовсе не замечали ее, каждый по-своему избегая общения. Зато с Веником она подружилась. Привечала, закармливала конфетами. Она не вникала в суть активности мужа и деверя. Знала, что не к бабам ходят, — и достаточно. Света быстро забеременела, благополучно родила. Роль матери и хозяйки дома воспринимала как приз за разумное поведение. Чего еще желать? Супружеский долг Мишка исполнял, зарплату приносил, подшавивал, когда выпадала халтурка, а что не всё до копейки отдавал в общий котел, так на то и мужик, чтобы заначку иметь. Деньги он тратил не на водку. Покупал книги, радиодетали, теперь вот пишущую машинку принес. Дорогая вещь. Свекрови Света и похвасталась бы, но женщины кое-как терпели друг друга, а потому мать-полковник знать не знала о подозрительных покупках сына-подпольщика.

Молодые Крайновы трудились на единственном в городе несекретном предприятии — на кондитерской фабрике. Вероятно, на случай войны там предусмотрена была своя программа по выпуску продукции двойного назначения, потому что пресловутый «первый отдел» тоже имелся. Света его сотрудников опасалась, особенно когда выносила за проходную карамель в пакете, привязанном к панталонам. Мишку кондитерские секреты никак не волновали. Ел что дадут, карамель так карамель, хотя предпочитал сгущенку. К ним в ремонтный цех сгущенку и шоколад чуть не каждый день приносили. Слесари и сварщики нарасхват: оборудование старое, вечно ломается, рвется, в очередь на ремонт стоят начальники цехов, вот и прикармливают специалистов. Его по-настоящему занимало другое: он хотел для своей страны многопартийную систему.

Мишка рос командиром. Он появился на свет в оккупированной Германии в конце 1945 года и, судя по темпераменту, зачат был сотрудницей СМЕРШа и военврачом под канонаду победных салютов где-то в Восточной Пруссии. После Германии родители отправились служить в Латвию и там с периодичностью в два года произвели на свет еще двоих сыновей. Дети комсостава не ездили на лето к бабушкам в деревню. Ездили они на полигон. Бабушки обитали где-то далеко на Востоке, даже не на Волге, а на Таме. Это была родина, пока еще незнакомая. Туда отправляли фотокарточки, посылки и получали в ответ приветы. Встреча внуков с бабушками так и не состоялась: бабушки не дождались. Даже на похороны их никто из Риги не приехал. Далеко, не наездишься. Остались они в представлении Мишки чем-то гипотетическим, в отличие от дедов, которые воевали и пали на полях войны, упокоившись под фанерными звездами. Мальчишки в гарнизоне считали правильным воевать и умереть, чтобы закопали под звездой.

Мишке исполнилось двенадцать, когда ребята получили разрешение самостоятельно выходить в город. В двух кварталах от воинской части находился костел. Обегая знакомыми маршрутами городок, братья Крайновы

обязательно посещали храм, где по очереди плевали в чашу со святой водой. Плевал один, двое прикрывали.

— Конспирация! — поучал пионер Мишка младших.

Конспираторы были схвачены на месте преступления. Родители вместе с товарищами по оружию обсуждали происшествие день, два, месяц! Хохотали, представляя, как набожные латыши осеяли себя слюнями пацанов:

— Святые слюни!

— Могли ведь и поссать...

Посещать культовое заведение гарнизонным детям запретили.

Мишка долго помнил, как священник выговаривал замполиту части, тщательно выбирая и коверкая акцентом слова:

— Дети не могли сами придумать такое оскорбительное действие. Кто-то их научил. Я не требую публичного наказания. Я рекомендую вам выявить этого непорядочного человека, подстрекателя. Такие шалости могут принести много вреда.

Детей никто не науськивал. Они сами уловили враждебность взрослых по отношению к местным, к их непрошибаемой набожности, причем даже не православной, а другой, совсем уж чуждой русскому человеку-победителю. Латышей следовало перековать, приучить к нашим правилам, сделать вполне советскими. Про некоторых отец так и говорил: мол, вполне советский, хотя и латыш. О других наоборот: не наш человек, доработка требуется. Мишка ощущал себя неправым.

— Надо было разяснять, а не портить святую воду, — делился он своими соображениями с маленьким Вениамином. Тот соглашался. Яша отмалчивался, однажды только огрызнулся: мол, кто придумал-то? Ясно, кто придумал.

Потом родители перевелись в Темь. В Теми жизнь так закрутилась, что про латышей братья забыли. Школа здешняя, в отличие от прежней, Мишку донимала. По всем предметам, кроме истории, в табеле стояли тройки. По истории четыре, потому что интересный предмет. Мать с отцом не обрадовались, когда старший заявил о намерении получить рабочую профессию, но противиться не стали. Силой разве парня в школьниках

удержать? Пусть идет в систему профтехобразования. Решил выучиться на сварщика. Работа не для дураков, пусть осваивает, а дальше видно будет. Клавдия и сама начала трудовую жизнь маляром.

Глава третья

Кирилл и его каморка

Кирилл Медников поступил в ту же «учагу», что и Михаил Крайнов, только на токаря. А встретились пацаны на футболе. В двух кварталах от Крайновского дома находился городской стадион. Пошли как-то с ребятами смотреть матч. Денег за вход платить не стали, расположились позади трибун верхом на заборе, оттуда тоже видно. Сидят, как скворцы на жердочке, дурачатся, толкают друг друга. Игра как игра. Одни забили. Другие забили. Трибуны шумят. Судья свистит. Всё как обычно, и вдруг один, не нападающий даже, а случайно подвернувшийся игрок, как наподдаст по мячу бутсой... У них настоящие бутсы, взрослая команда, на чемпионате города играют. Как наподдаст! Мяч вылетел за пределы поля, перекинулся через трибуну и упал по ту сторону забора, едва не выкатился на проезжую часть. Пацаны с жердочки ссыпались, один из них мяч схватил и дал деру. Другие за ним. Бежали гурьбой, потом растеклись по дворам — чтобы не спалили, не отобрали добычу. Мишка до конца пас этого тощего, сцапавшего трофей. Была ли за ними погоня? Похоже, не было, а только сердце парнишки, умыкнувшего мяч, колотилось, как у воробышка, когда он, нырнув в ворота деревянного дома, затаился за поленницей. Еще и калиткой наотмашь Мишку ударил. Но тот стерпел и заскочил следом. Мишкино сердце тоже колотилось во всю мощь, и ноги дрожали.

— Ты чё? — выдохнул Мишка, потирая ушибленный калиткой лоб. За это стоило дать в челюсть, да сил не осталось для хорошего удара.

Пацан только улыбался и дышал широко открытым ртом. Мяч он выпустил из рук и придерживал ногой сверху.

— А ты чё? — прохрипел в ответ.

Прогрохотал трамвай. Деревянный двухэтажный дом подрожал, прозвенел всеми своими мутными стеклами. Стихло. Наверху хлопнула дверь, скрипнули половицы. По дощатому коробу, пристроенному к задней стене, что-то полилось, затем мягко свалилось вниз. Мишка с интересом поднял голову, принюхался.

— Дядя Федя посрал, видать, знатно. С простокваши, — усмехнулся Кирилл. — Чё, уборную натуральную не видал? У вас там все кафель да титаны, газовая плита. Ванная с душем.

Парень, умыкнувший мяч, будто подначивал Мишку и откуда-то знал про его бытовые условия. Мишка молчал, приглядывался. Парень вдруг предложил:

— Хочешь посмотреть, как народ живет?

— Хочу.

Особенного любопытства Мишка не испытывал, но отказаться после такой тирады не мог. Кирилл, взяв под мышку мяч, повел нового знакомого в гости. Жили они с бабушкой в нижнем этаже. Дом, когда-то принадлежавший зажиточной городской семье, в двадцатых еще годах разделили на «квартиры». Квартира, доставшаяся бабушке Кирилла, состояла из сеней, куда вели со двора две ступеньки вниз, и угловой светелки с двумя окошками. В сени выходило три двери, так что это помещение, очевидно, делилось на разных хозяев. Светелка с очень низким дверным проемом площадью уступала денщиковой комнате в квартире Крайновых. К одной стене пристроена была печь с шестком и подтопком, напротив притулилась тумбочка под чистой клеенкой. Под полотенцем угадывалась небольшая стопка тарелок. В комнате пахло сыростью, бедной едой и лекарствами. Дальше печки располагалась кровать, узкая и короткая, но прибранная нарядно, с горкой подушек, накрытых кисеей. Впритык к кровати кушетка. Посреди комнаты на свободном пятачке стоял табурет.

— Располагайся, будь как дома, — Кирилл показал на табурет, и Мишка, сняв обувь на потертом половичке у порога, на табурет сел.

— Чай будешь?

Мишка сразу почувствовал пересохшее после пробежки горло, кивнул.

— Сейчас воды принесу.

Кирилл вышел в сени, и вскоре Мишка увидел его ноги, прошагавшие мимо окна. Сырость жилища объяснялась тем, что дом первым этажом наполовину врос в землю. Минут пятнадцать — до колонки и обратно — Кирилл ходил за водой. Потом кипятил чай на плитке в эмалированном зеленом чайнике, приговаривая:

— Так и живем, так и живем.

— Ну, знаешь, это временно. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Точно. Так в газетах написано!

— Ага, на вашей-то стороне улицы — коммунизм. А мы тут с земляным полом.

— Почему с земляным?

— А ты посмотри в сенках. Выгляни, выгляни. Доски сгнили. И у нас под порогом, под половичком, одна труха. Пока коммунизм построят, у нас пол совсем сгниет.

— Ты один живешь?

— Бабуся в больничке. Астма у нее и сердце.

— Может, лекарства нужны, я спрошу у отца.

— Не надо, брата не признаем. У нас лучшая в мире медицина. Там и лекарства, и кормят от пуза. Да ты не расстраивайся. Нормально у меня всё. Вот, мяч теперь есть. Приходи играть с нашими пацанами. У вас там во дворе команда есть?

— Нету.

— В нашей будешь. Если захочешь.

— Посмотрим.

— А ты почему за мной бежал?

— Не знаю. Прикрыть думал, если что. Все же сдриснули. Кто прикроет?

— А я думал, футболист за мной гонится, боялся оглянуться. Чуть не сдох.

Они расхохотались и хохотали до икоты, как могут смеяться подростки, только что пережившие вместе большой страх, беспричинный стыд и невероятную удачу.

Счастливый мяч исправно служил, пока однажды в мае, когда после экзаменов пошли погонять в футбол на пустыре за трамвайной линией, один пацан выбил мяч из штрафной



да так напощал, что мяч пулей перелетел через ворота и упал точнехонько в кузов проезжавшего мимо грузовика.

Уехал мяч — горевали недолго. На той же неделе оба, Кирилл и Мишка, получили повестки в военкомат.

Мишка отслужил полный срок, а Кирилла комиссовали.

Он все так же жил в сырой комнатухе на противоположной стороне улицы, только уже без бабушки. В футбол они больше не играли, а интересы опять совпали.

Глава четвертая

Партийное строительство

Договорились назвать партию демократической и рабочей. Горячо спорили о порядке букв. ДРП намекало на «драпать», РДП звучало боевито, сухо, как очередь из автомата. Значит, эрдэпэ. Но если первое слово «рабочая», то как привлекать студентов и служащих?

— Надо начинать с «демократической», не надо с рабочих, — настаивал Веник.

Он учился в десятом классе на «четыре» и «пять». Родители надеялись, младший поступит в вуз. Отец настраивал его на медицину, мать рекомендовала высшее военно-политическое либо училище погранвойск в Москве.

— Пээрдэ — будто пернул кто, — обкатывал Михаил аббревиатуру на слух.

Они заблудились в трех буквах, никак не двигались дальше.

— Мы пока не можем создать партию — значит, все одно, дэ-рэ-пэ иди пэ-рэ-дэ, — рассуждал Кирилл. — Трём один.

Василий и Илья, оба работавшие в депо на железной дороге, поддерживали букву «рэ», Рабочую партию, можно даже без демократического уточнения. Эти двое примкнули к подпольщикам еще на этапе закупок бумаги. Долго ждали настоящего дела и буквально рвались в бой.

— Эр-Пэ? — Михаил покатавал буквы языком, подумал.

— Куце получается, — высказался Кирилл. — Против КПСС какая-то эр-пэ. А если демократическая революционная рабочая партия?

— Ленина! — воскликнул Веник. — Дэ-эр-эр-пэ-эл!

— Ленинская партия — это хорошо, — поддержал Илюха. — Ленина всего переврали нынешние-то. Будем настоящими ленинцами, по ленинскому пути поведем рабочий класс.

— Вот, можно еще добавить «классовая»! — оживился Василий.

— Нет, надо что-то одно — либо революционная, либо демократическая. Мы свергать режим не призываем, мы за демократические преобразования, — возразил Михаил, игнорируя нарочитую «классовость».

— Решительные демократические преобразования! — уточнил Василий.

— Ну, тогда весь алфавит сюда давай, чтобы язык сломать! — махнул рукой Илюха.

Остановились на РДПЛ — «Рабочая демократическая партия Ленина». Осталось сочинить подходящий текст листовок.

Пришел час Вениамина показать класс: он единственный из только что созданной партии окончил десятилетку, то есть почти окончил. Для начала все согласились, что писать надо тезисно, как Ленин.

— Учиться, учиться и учиться, как завещал... — начал было Михаил вдохновлять брата, но тот перебил его:

— Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения!

— Наболевшие? У нас и движения-то пока нет.

— Но ведь наболело же! — вступился за Веника Василий.

— «Что делать» — роман Чернышевского про женщину, Веру Павловну, — сказал Илюха.

У него по литературе тройка в табеле кое-как вышла, и вытянула его как раз Вера Павловна, которая мужа к себе в спальню стучаться заставляла. Илюха с сестрой и родителями проживал в комнате в коммуналке. Сестра — за шкафом, а он на раскладушке возле окна. Он делал вид, будто быстро засыпает, чтобы не смущать батю, когда тот на мамку залезал, да тот и не смущался. Стал бы батя стучаться в спальню и разрешения спрашивать!

— Ленин тоже писал «Что делать», — уточнил Кирилл. — Не роман, а как их... апрельские тезисы, по пунктам перечислил, что надо делать.

— Социалистическое отечество в опасности, — задумчиво произнес Вениамин.

Он решил не обращать внимания на путаницу в голове Кирилла.

— Веня, ты мать попроси, пусть с работы принесет том Ленина или два, у нее в кабинете я видел все собрание сочинений стоит. Надергаем оттуда, — предложил Михаил.

— Пока принесет, пока найдем, чего держать, — еще неделя, а времени-то в обрез, — засуетился Илюха.

— Так, слушаем все сюда. Вместо апрельских мы напишем октябрьские тезисы, расскажем, что делать. Коротко, ёмко, хлестко, не рассусоливая. По-ленински. Вверху крупными буквами: «Социалистическое отечество в опасности!» — Михаил взял карандаш и вывел на бумаге крупными печатными буквами, затем, отступив вниз, с подчеркиванием: «ЧТО ДЕЛАТЬ?».

— Это напечатаем с большими пробелами между буквами, — согласился Кирилл. — Дальше текст.

Разошлись по домам после полуночи. Вениамин остался ночевать на оттоманке в квартире брата. В голове металась горячие мысли, он то укладывался, то включал торшер и лежал правил текст, пока не выпал

карандаш из рук. Михаил спал крепко, проснулся отдохнувшим, веселым, а Веник совершенно измучился к утру лихорадочными снами из букв. Хотел взять черновик, чтоб доработать текст на переменке, — брат не позволил:

— Ты чё, совсем дурак? Учительница отберет, или пацаны вытащат, решат, будто любовную записку сочиняешь. Дело-то подсудное, расстрельное, можно сказать. Никому ни слова. Всех спалишь. Писатель! Сочинитель! Это же про-кла-ма-ци-я. Про пионеров-героев читал? Валю Котика помнишь?

Портрет Вали Котика висел на втором этаже школы в общей галерее славы. Подробности совершенного им подвига Вениамин забыл. Решил пойти прочитать, освежить знания. Пообещал прокламацию в школе не сочинять, черновиков не выбрасывать.

— Давай шуруй, школьник!

Света насыпала в карман деверя кармелек. Тот благодарно кивнул ей, прощаясь. Побежал на остановку, оскальзываясь и стапывая чужие следы на влажном слое первого снега.

Вечером Кирилл под диктовку Михаила отпечатал первую закладку листовок с текстом, сочиненным Вениамином, десятиклассником обычной средней школы города Темы на реке Теме:

ТОВАРИЩИ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Октябрьские тезисы

1. ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ Рабочей демократической партии Ленина (РДПЛ).
2. ГОЛОСУЙТЕ на выборах за кандидатов от РДПЛ.
3. НЕ ДОВЕРЯЙТЕ блоку коммунистов и беспартийных.
4. ДА ЗДРАВСТВУЕТ демократия и политическая конкуренция!
5. ДОЛОЙ блат в торговле и кумовство на производстве! Установим контроль за распределением продуктов питания и промтоваров!
6. ДАЕШЬ всенародные выборы правительства и директоров заводов!

7. КОМСОМОЛ является орудием нажима и подушного сбора!

8. ПРОФСОЮЗЫ нас предали!

9. СОВЕТСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ — авангард международного пролетариата.

Да здравствует рабочий демократический
ИНТЕРНАЦИОНАЛ!

МЕЧ ТЯЖЕЛ, НЕОБХОДИМО ЕДИНСТВО СИЛ!

В первоисточнике у Веника финал выглядел так: «Лучше умирать в борьбе с угнетателями, чем умирать без борьбы голодной смертью. В. И. Ленин «Советы постороннего».

Старшие товарищи исключили из текста эту цитату. Никто не собирался умирать в борьбе и, тем более, умирать от голода. Уж хлеба-то купить всегда пятнадцать копеек найдется, а к хлебу кильки в томате или плавленый сырок. Никто еще от голода не умирал. Нечего нагнетать, тем более по совету «постороннего». Посторонних тут нет.

Глава пятая

Пропаганда против агитации

По стечению не связанных между собой обстоятельств как раз в эти дни, 9–12 октября, в Москве шел судебный процесс. В репортажах под рубрикой «Из зала суда» газеты писали о нарушении общественного порядка группой, состоявшей из отбросов советского общества, из тунеядцев, из ранее судимых за хулиганство и спекуляцию, наконец просто психопатов: «Эти лица, заранее сговорившись...». Писали про них в московских газетах, а в Темь одну такую газетку занесло случайно: Филипп Георгиевич Крайнов привез из командировки. Не нарочно, а завернул в нее копченую горбушу поверх магазинной упаковки. Рыбину Филипп Георгиевич принес на работу в госпиталь угостить коллег столичными гостинцами. Газетку подобрал санитар, прочитав, оставил в приемном покое, там ее нашел скушающий пациент. Привлек запах, да и вообще интересно провинциалу посмотреть, что в столицах едят. Пошла газета гулять по рукам.

В палате язвенников заметку читали вслух.

— Вот ведь нашли как-то друг друга, мрази! — бурчал гражданин с обострением язвы двенадцатиперстной кишки, перегибая пополам газетный лист. — Пришли в святое место, на Красную площадь, и там стали нарушать! Пьяные, конечно... — Далее читал: «...Развернули у Лобного места заранее изготовленные плакаты с оскорбительными для советского народа клеветническими надписями, стали выкрикивать грязные лозунги...».

Палата возмущенно вздыхала, чтец цокал языком, ёрзал на табуретке, желая узнать «грязные» подробности, но содержание лозунгов тонуло где-то между строк. Следующим абзацем газета его успокаивала: «Находившиеся на Красной площади рабочие и служащие, возмущенные действиями этих лиц, окружили крикунов, вырвали у них плакаты и разорвали их. Хулиганы были доставлены в отделение милиции».

— Да я бы их самих разорвал, не только плакатики ихние, — заявил чтец, аккуратно разглаживая затертый газетный лист.

— Надо же! — загомонили язвенники. — Кого только не встретишь на Красной площади!

— В отпуск поедem на будущий год через Москву, пойдем посмотрим на Лобное место. На Кремль, на храм Василия Блаженного посмотрим, в Мавзолей, если повезет, попадем, — мечтал вслух капитан лет тридцати пяти. — А если встретим хулиганов, я им такой отлуп дам — забудут, как тунеядничать и спекулировать.

— И лозунги писать забудут, — погрозил кулаком ветеран с самой дальней койки.

В палате никто не узнал о содержании «клеветнических надписей», о том, что «хулиганы» под лозунгом «За вашу и нашу свободу» выступили против ввода войск в Чехословакию, да если б и узнали...

Год выдался беспокойный. Во всем мире бурлило и клекотало, противилось и требовало, восставало и освобождалось от пут. Темские подпольщики не задумывались о существовании других ячеек стихийного сопротивления и толком не представляли, какой хотят получить результат. Допустим, прокламация достигла бы цели и рабочие

валом повалили вступать в РДПЛ. Куда им обращаться? На каких выборах голосовать за «партию Ленина»? Процедурные мелочи темских подпольщиков не интересовали. Говорил же Михаил: побузим год-полтора — не схватят, а там на дно заляжем. Всесилие монстра, которого они взялись дразнить, не подвигало на выстраивание долгосрочных планов, стратегий, хватало и тактики. Ребята ровно шли под статью сотягчающими — «группа лиц по предварительному сговору».

Глава шестая

Вброс

Седьмого ноября, как и предсказывал Кирилл, снег в Теми лежал по щиколотку. На вброс пошли парами: Мишка — с Илюхой, Кирилл — с Василием. Один кидает — другой смотрит, как народ реагирует, и если что, ухит, не вмешиваясь.

Разбрасывать решили сверху, но не с крыши, потому что на крыше сразу блокируют — и никуда не денешься. Идеальный способ — кидать с железнодорожного моста над улицей. Мостов два. Под одним проходит на праздничную демонстрацию колонна химзавода, под другим — университет. Михаил взял себе заводских, «Студента» отрядили на ученую интеллигенцию и будущих командиров производства.

— Ты в голову колонны не кидай, там ректорат с деканатом идут, знамена несут, портреты членов в руках, им и поднять-то листовку нечем будет. Разве что зубами поймают. Пропусти, кидай в хвост, — рассудительно наставлял товарища Михаил.

Кирилл и с этим наставлением согласился. Разошлись.

Михаила от волнения колотило. Пока ждал колонну, дважды сбежал с насыпи отлить. «С перепугу, видать. Кому расскажешь — засмеют», — думал он вслух, пережидая очередной товарняк. Его обдало воздушной волной от состава — страшно, как бы не застрянуло под колеса. Физический страх заглушил на время тот, основной, от которого ныло

под ложечкой. Дальше все получилось просто. Когда колонна вошла под мост, Михаил вынул двумя руками заранее разделенные пачки листовок. Швырнул. Перебежал на другую сторону, прыгая через рельсы, и швырнул еще раз с обеих рук. Не глядя вниз, кинулся бежать по рельсам прочь, скатился с насыпи и, петляя между огородами частного сектора, стараясь не срываться на бег, чтобы не привлекать внимания, вышел на центральную улицу. Чисто сработал. На него, кажется, даже собаки не лаяли.

Кирилл поступил точно так же. С той только разницей, что спустился с насыпи прямо к трамвайной остановке, отпустил подвязанные полы пальто, надел кроличью шапку-ушанку и поехал праздновать 51-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

На следующий день оперативное совещание на квартире Крайновых проходило в состоянии общего душевного подъема. Наблюдатели — Илюха с Василием — рассказали, как народ охотно расхватывал листовки, полагая, что это праздничное приветствие. Даже читали вслух название про социалистическое отечество.

— Знакомый текст, это ведь с детства учат, как «Отче наш», — смеялся Кирилл.

— Ну, сейчас никто «Отче наш» не учит, — заметил Веник.

— Ну а потом? Потом что? — торопил Михаил.

— Потом стали по-разному. Одни выбрасывали, комкали, другие комкали и за пазуху прятали, по карманам, — рассказывал Илюха, дежуривший в колонне химзавода.

— А студенты-то не простые оказались, — сообщил Василий. — Ты прямо на юридический факультет всю пачку высыпал. Они тоже сначала думали, хохма праздничная, но как раскусили, стали сдавать вещественные доказательства преподавателям. А те быстро сообразили, что к чему. Стали высматривать, кто лишний у колонны трется, меня чуть не замели. Обыскали даже, а ничего при мне нет, отпустили. Я фамилию назвал Кузнецов, как у деда по материнской линии, имя-отчество тоже его.

— Зря. Надо было совсем чужое, вымышленное назвать.

— Ну кто ж знал? А придумать быстро не получилось. Замаялся бы, так не поверили бы.

— Значит, так: каждому придумать запасное имя, — велел Михаил.

— Псевдоним, — уточнил Вениамин. — Я буду Орлов Аристарх Никодимович.

— Всё бы тебе ха-ха, — раздосадовался брат. — Назовешься Ощепков Павел Иванович. Проще надо быть. А пока ляжем на дно ждать последствий.

Последствия, к полному разочарованию основателей РДПЛ, не наступили. О происшествии с листовками город молчал. Молчала и Клавдия Крайнова. Локтем перекрестилась, что ее дети не учились на том несчастном факультете. Не зря же прокламации рассыпали там, кто-то что-то знал. Там гнездо провокаторов, не иначе. А ведь мечтала она Веника туда устроить, если в военное в Москве не получится.

Оперативники отрабатывали связи вуза с предприятием. Безрезультатно. Сошлись на одной версии: антисоветчики провели атаку не адресно, а исходя из удобства вброса, то есть под мостами могли проходить в тот момент любые колонны. Хороших зацепок по делу эта версия не давала. Следов «партии Ленина» обнаружить не удалось. В городе не нашлось ни одной сколько-нибудь устойчивой молодежной компании, которая подходила на роль этой самозванной политической организации.

Глава седьмая

Нулевые последствия

Отгуляв ноябрьские, город, давно не знавший солнца, стал готовиться к Новому году. В промтоварных магазинах открылись новогодние базары. Темчане выбирали из коробок, выставленных на прилавки, стеклянные шишки, мелко нарезанный из фольги «дождик», картонных белочек и зайцев. Новинкой сезона стали шары-прожекторы, Михаил купил два. В аптеках спрашивали

дефицитную вату — делать из катышков и белых ниток гирлянды, изображающие снег. Белые нитки и вату в Темь давно не завозили, в аптеках объявления висели «Ваты нет», а настоящий снег валил без остановки.

На форточках висели в авоськах мертвые длиннолапые куры, их до поры хранили на холоде, упаковав в оберточную бумагу от посягательства живых голодных птиц. Крайновы имели холодильник «Мир», но рядовую птицу мать вывешивала за окно, оставляя место в «Мире» под дефицитные продукты. Михаил нарочно ходил по очередям, слушал. Нарочно ездил в автобусе, прислушивался. Нет! Никто ни слова не говорил о прокламациях. Не сплетничали, не осуждали, не ужасались. Крайнов ощущал себя мороженой курицей, выпотрошенной и вывешенной на холод.

Зима шла на Темь с гриппом и долгими, без просвета метелями. Первые этажи домов завалило снегом по подоконники. Болел Кирилл. Илюха с Василием слились куда-то, утратив интерес к подпольной работе. Вениамин готовился к выпускным экзаменам, собирался поступать, может, и в Москву. Мать ему все же намечтала военно-политическую карьеру и рекомендацию обещала с работы взять. Веник соглашался, немного стесняясь брата.

— Тебе в военно-политическое теперь как раз будет. Я еще рекомендацию дам, если потребуется, — мрачно шутил Михаил, качая на ногу хохочущего сына.

Игрушек у наследника хватало, а любил на папкиной ноге покачаться, нахохочется — и спать, никаких сказок не надо. Михаил в эту зиму начал полнеть, сутулиться и брюзжать. Света тоже «поплыла»: лицом, талией, бедрами стала шире. Говорила, мол, от недостатка солнца и витаминов Д и С. Намекала, надо на море поехать летом. Он не замечал в ней изменений. Женщина как женщина, можно и на море.

В начале февраля над городом повисло холодное белое солнце, и задули студёные ветры. Но все же солнце — значит, зиме конец будет. Михаил стал оживать, в обед вы-

ходил во двор фабрики на небо посмотреть. Просто так. В марте небо начало иногда синеть. На эту синь тенькала в душе маленькая, как цыпленок, радость. Чему бы радоваться? А в Теми цирк построили. Открыли еще к Новому году. Хороший цирк, билетов не достать. Распределяли по школам, по предприятиям. Кириллу дали два билета от профкома. Что-то он этакое выточил хитрое у себя на часовом. Спирт Кирилл по-прежнему не употреблял, а мотивировать на трудовой подвиг его как-то надо, вот и послали в цирк, но когда пришло время, он свалился с бронхитом — осложнение после гриппа. На представление — не пропадать же билетам — пошли Михаил со Светой.

Света надела новые сапоги и сделала большую прическу «халу». Сначала отправились в буфет, бутерброды с докторской колбасой запивали газировкой. Пузырики щекотали нёбо и стреляли в нос. Настроение приподнялось. И не только настроение, хоть бери такси и гони домой в кровать. Но представление посмотреть надо. «Потерпим», — думал Михаил, поглаживая колено жены. А когда началось представление, на него снизошло. Там, в темноте, включили прожектора, дым пустили, музыка ударила марш, и он прямо вот как воочию увидел, будто разлетаются прокламации в огромном черном небе, подсвеченные прожекторами... Понятно, в цирке разбрасывать листовки он не стал бы. Но где? Где?! И решение пришло: ночью возле церкви на Пасху.

Спросил у матери, как добыть пропуск через оцепление, если хочется пройти на крестный ход посмотреть. Она посмеялась затее. Пропусков таких не дают. Посоветовала сделать морду кирпичом, будто воцерковленный, и уверенно идти к храму через все три оцепления:

— Сначала там стоят дружинники, потом милиция, потом уж наши. Ты их и не заметишь, они в штатском.

— А если остановят?

— Остановить могут, побеседовать, на карандаш возьмут, но препятствовать не имеют права. У нас свобода вероисповедания.

— Мам, скажи, я крещеный?



— Еще чего! Кто бы тебя окрестил? — И спохватилась, нахмурилась: — Ты точно в церковь собрался? Надумаешь креститься — смотри у меня!

— Так ведь свобода же вероисповедания?

— Я те покажу свободу! Комсомолец! Света тебя подбивает? Она? Деревенщина хренова.

— Да брось, мама. Света про церковь ни сном ни духом, у них в селе в храме машинный двор. Я без нее хотел пойти посмотреть. Просто посмотреть. Не окрестят же меня там ночью-то ненароком!

Глава восьмая

От Пасхи до Первой

Добыли они с Вениамином дымовую шашку. Проверили — работает, только дым не белый, как в цирке, а черный. Пригласили с собой двух девах: Веня знакомых старшеклассниц из соседней школы позвал. Ближе к ночи двинули к храму. А в Теми только один храм открывали на Пасху. Ну, может, два. Михаил один точно знал — на старом кладбище.

Пришли, никто их не остановил. Прожектора вовсю жарят, светло, как днем, даже ярче. Купили свечки, внутри церкви потолкались, дождались, когда крестный ход пошел,

за ним пристроились, но свернули в другую сторону, чтобы навстречу выйти. Встали за апсидой в тени. Веник будто невзначай отлучился. Девушки жмутся к Михаилу. Им обещали, весело будет, а тут пока невесело, холодно и жутко. Только-только священник со свитой и с хоругвями из-за храма вывернул, Михаил девушек с обеих рук стряхнул и кинул ему под ноги шашку. Поп, божий одуванчик, упал на землю, его в дыму и не видно. Паника, суета, и поверх всего этого великолепия летят прокламации — Вениамин забрался на церковную ограду, раскидал с двух рук листовки и дал дёру через кладбище. Михаил заметил: через забор за Веником три-четыре тени метнулись.

Вот это плохо, думает, вот этого не ожидал — засекли. Как там брательник между оградками уходить от них станет? Оградки железные, острые навершия на прутах, худо, если напорется. Сам Михаил спутниц в охапку — и за оцепление, а там на такси по домам развез. Они довольные, никогда такого представления не видали.

— Только не говорите, кто шашку кинул, за хулиганство статья полагается. Хотя и против церкви, а засудят. Не хотелось бы под суд идти за малую шалость.

Девушки обещали братьев не сдавать. Спрашивали про Веника, Михаил отшутился: мол, у братишки не вовремя живот скрутило, все веселье просидел в сортире. Смеется, а у самого от тревоги голос перехватывает.

Обошлось. Вениамин оторвался от погони. Форя у него была, и маршрут выбрал заранее, днем прошел пару раз, запомнил повороты. Пока петлял между оградок, курточку из болоньи распорол. Жаль куртку. Но ведь того стоило! Хотя какая-то движуха началась.

Началась — и кончилась. В городе опять тишина — ни шепотка, ни слуха о происшествии.

На Первое мая решили не кидать листовки, а расклеивать. Напечатали новую партию. Подписались «Молодая гвардия», с намеком. Кирилл к тому времени вернулся в строй, даже не кашлял уже, вылечился. Клеили до рассвета. Клей закончился — остатки прокламаций рассовали по почтовым ящикам.

Утром Михаил с женой посадили сына в прогулочную коляску, чин чинарем отправились к месту сбора фабричной колонны. По маршруту ни одной листовки не оказалось на месте. Всё соскоблено. А на каком-то подъезде, видать, не сумели соскрести — так дверь сняли, унесли.

Веник про дверь услышал, предположил, что отпечатки пальцев найдут.

— А нас никого у них в базе нет! — заявил Михаил. — Утрутся. Ты только подумай, сколько на входной двери в подъезд разных отпечатков! Они свои мозги сотрут всех проверять.

И опять никаких последствий не случилось. Эхо событий поглотила глухая Темь. Ни кругов по воде, ни всплеска. А Михаил уже не мог остановиться. Решил дело расширять, наводить мосты с Прибалтикой. Помнил детство. Очень рассчитывал на адекватный и даже горячий отклик прибалтийских товарищей.

Устанавливать связи поехал Кирилл. У него как раз отпуск подошел. Если бы в какое-то другое место, он бы подумал, а в Прибалтику — самое подходящее. Там, он знал, довольно легко разжиться литературой. Кирилла интересовала Библия.

Михаил списался со старым знакомым по военному городку. Тот жил в пригороде Риги. Работал на радиозаводе и учился в институте. Не женат, есть жилье, готов принять у себя Кирилла: как говорится, твой друг — мой друг. Встретил на вокзале, привез домой, сводил в кафе, где кофе со взбитыми сливками подают. На следующий день обещал показать Домский собор с органом. Кирилл от радушия и душевного комфорта утратил всякую бдительность. Вечером того же дня изложил принимающей стороне свою политическую программу. Вместо ожидаемых паролей и явок получил честный, сильно огорчивший его ответ. Ответил хозяин не сразу. Утром собрался на работу, сказал, что как советский человек и настоящий комсомолец вынужден сообщить об антисоветском эмиссаре куда следует. Запер Кирилла на ключ и ушел сообщать.

Кирилл привез листовки, думал, расклеивать будут вместе. Делать нечего, сидит запертый — дай, думает, хоть листовки сожгу. Запалил. А бумаги много. Дым коромыслом. Сигнализация сработала, приехала пожарная команда, квартиру вскрыли, Кирилл и смылся. Удачно вышло. Метнулся на вокзал. Думал, выкрутился. Нет, сняли его с ленинградского поезда.

Глава девятая

Провал

Первая телеграмма от Кирилла пришла: «Добрался. Встретили». А второй не было. Михаил понял, что неладно там вышло, в Прибалтике. И что делать? Мать еще с Пасхи с ним разговаривать перестала, замкнулась. Веника за испорченную куртку тряпкой отхлестала. Не бывало с ней такого прежде. Грустная ходит или озабоченная, не поймешь.

В гости не зовет. Вениамин экзамены сдал в школе хорошо. Справки о здоровье собирал, характеристики: поступать ведь надо. С ним тоже редко виделись. И вот как-то день хороший выдался. Лето. Тепло. Настроение славное с самого утра, будто последний день на свете живешь, и каждая мелочь радует, проступает, как под увеличительным стеклом... Пух тополиный... Да! Как раз полетел тополиный пух. Мастер говорит, надо съездить на объект, вроде в заводское общежитие, посмотреть, какой там объем работы. Летом всегда систему отопления ремонтируют, сварка нужна. Михаил даже обрадовался сначала, что за проходную поедут. Мастер велел переодеться, потому что объект серьезный, до конца смены не обернуться. А варить трубы там завтра уж будут. Крайнов переоделся в чистое, не заподозрил еще подвоха. А когда из ворот выехали, там по обе стороны две «Волги» стояли, и в каждой по три человека. Поехали тихонько, у мастера руки на руле дрожат. «Волги» следом едут. Тут Михаил понял, что нет никакого объекта, сам он объект.

— У тебя отец-мать живы? — спрашивает мастер.

— Живы.

— Это хорошо.

Помолчал и опять про мать-отца. Какое ему дело? Будто если бы Михаил сиротой был, так он бы его умчал от погони? Передачи в кутузку носить бы стал? Пустой разговор. Выехали на задворки городского парка. Остановились, мастер опять спрашивает:

— Жене передать что-то?

— Передайте привет.

А дальше уж никакого разговора. «Волги» фабричную «буханку» взяли в коробочку, мужик в пиджаке дверцу открыл снаружи и спрашивает:

— Крайнов Михаил Филиппович?

— Я.

— Пройдемте.

«Надо же, как в кино», — подумал и пошел на заднее сиденье между двух бойцов в штатском. Уселся. Он и после, спустя годы, вспоминал свой арест — как кино смотрел, будто видел всё и самого себя сверху и чуть сбоку. Значит, видел глазами ангела, парившего за правым плечом. Вообще-то в ангелов он никогда не верил. Кирилл ему говорил, что ангел за правым плечом, а за левым — черт.

Дальше неловко было, когда привезли в «контору глубокого бурения». Ведут в наручниках, а вокруг знакомых полно: с кем на турбазу вместе ездили, с кем за столом у родителей на праздниках сживали. Неловко перед ними под конвоем. Завели в кабинет. Обстановка скромная. Стульчик дали хлипкий. Сел на краешек. Руки за спиной в наручниках. И как пошли один за другим в этот махонький кабинетик большие чины, как давай ругать, матерью попрекать. Рожи красные, глаза пучат, кулаками трясут. Тут Михаилу легче стало — озлобился в ответ. Молчит, но внутри не стыд, как поначалу, а злоба клокочет. Мать ругаться не пришла.

Жалко ее, конечно. Уволили за утрату доверия. По сути, за избыток доверия. Двух сыновей-антисоветчиков воспитала. Отец с должности сам ушел, простым врачом остался в госпитале работать, врачи нужны. А мать совсем уволили, всех льгот лишили. Оружие на него чины как обещали, так и сделали.



Потом уж следователь протиснулся к нему. Молодой совсем, лейтенантик в штатском, достал Уголовный кодекс. Дал статью прочитать. Агитация и пропаганда, направленная на подрыв и ослабление советского строя, тянула на семь лет лишения свободы. Михаил думал, ему пятнашка светит, а выходит, семь лет всего. Обрадовался: «Может, еще скостят малость, дак выйду в тридцать или раньше. Ерунда, беру!» Не обратил сначала внимания на отягчающие. Они хороший довесок дали — за группу всегда накидывают срок.

Следствие тянулось до зимы. Хотя, казалось бы, что там расследовать? Никто не отпирался. Это вор говорит: нет, не я украл. А за политику взяли — запаadlo отпираться. Всё свое на себя взяли. Машинку только не сдали. Венамин ее закопал в сосновом бору. Узнал, что Мишку арестовали, и закопал. Потом, когда вышел на волю, не нашел. Может, выкопал кто-то или он место плохо запомнил.

Глава десятая

Этапом до Теми и дальше

Первые семнадцать месяцев братья Крайновы провели в мордовском лагере. Летом 1972 года политических оттуда перевели. Собрали, повезли куда-то, а куда — не со-

общали. Два вагона загрузили под завязку. Жара стояла жуткая. В вагоне духота, зэки в три яруса лежат — ни встать, ни сесть, окна открывать нельзя, да и окна-то в «шубе», в специальных жалюзи, чтобы не видно было, как там снаружи на воле жизнь происходит. Жалюзи эти днем от солнца раскалялись. Заключенные, как на сковородке, под крышкой жарились. Стали от жары умирать старики. Конвоиры трупы до ночи не выносят, чтобы секретность не нарушать. Так и лежат умершие в блевотине, в моче рядом с живыми. Ну, тогда зэки устроили бунт. Взялись раскачивать вагон. Охрана, сообразив, что доброе дело не кончится, договорилась с депо, подогнали пожарный поезд, облили вагоны снаружи водой. Полегчало несильно, но хоть что-то, хоть как-то температуру сбили.

Прибыли на конечную станцию неизвестно какого числа — сбились со счету дней, пока ехали. Впервые за долгое время вдохнул Михаил наружного воздуха полной грудью, когда из тамбура голову высунул, прикидывая, куда шагнуть. И потом дышал жадно, пусть и не раздышишься на корточках. Правило такое при этапировании: зэк из вагона прыг на перрон — и на корточки. Внизу, на перроне, всегда креозотом пахнет, шпалами. Уборной наносит из-под вагона. Но тут в воздухе угадывалась еще гарь какая-то, привкус металлургического, заводского.

В зону повезли далеко за город. И повезли-то, вот какая везуха, в открытом кузове. Кто говорил, век воли не видать? Видать волю, не нагладишься! Местные тюремщики нашли всего пару автозаксов, а заключенных прибыло два вагона, битком набитых. На чем их развозить по тюрьмам? Стариков, а это в основном бандеровцы, полицаи, «за войну» сидевшие, повезли по-взрослому, автозаксами. Уважили. Молодежь диссидентскую — в открытых грузовиках, на низких скамеечках, почти на полу, зато ветерком обдувает и пейзаж перед глазами.

Москвичи, украинцы, прибалты не могли понять, что за местность. Всё, что восточнее Волги, для них Сибирь. А Крайновы, хоть и не бывали прежде ни разу в этих местах, сообразили, что находятся недалеко от дома.

Севернее, но не очень далеко. Родину ведь, как мать, узнаешь даже переодетую. Узнаешь по линии горизонта, по цветам на обочине, по вкусу дождя, по звуку ветра. Каково возвращаться на родину тюремным этапом? Это другой вопрос. А все равно рад был Михаил родине. Шел ему тогда двадцать седьмой год.

Часть вторая

Глава первая

Полковник Федотов и свобода слова

Февраль 1992 года сковал Темь и Таму долгими, как зимняя ночь, морозами. После обманной январской оттепели в воздухе повисли кристаллы изморози. Сталкиваясь друг с другом, они дробились в пыль и продолжали хаотическое движение, удерживаемые на весу восходящими потоками воздуха. Мерцание морозной пыли днем в лучах слабого солнца и ночью в жестком свете уличных фонарей придавало городу вид болезненного-фантастического.

Под прикрытием тумана промышленные предприятия сделали несанкционированные выбросы в атмосферу. Легкие фракции улетели, а тяжелые понемногу оседали, смешиваясь с алмазной пылью. Люди десятками отправлялись на больничные койки с аллергическими бронхитами. На третьи сутки в стационарах не осталось свободных коек, пациентов укладывали в коридорах. Эпидемиологический порог, однако, не был превышен.

Наконец, морок рассеялся, и напасть обернулась неземной красотой. Всё недавно мерцавшее на весу осело на стены домов, на фонари, придав Теми вид декорации к спектаклю «Снежная королева». Особенно хороши стали голубые ели у парадного входа здания Темского областного УВД. Изморозь покрыла каждую иголочку на растопыренных лапах. Полковник Федотов, пораженный зрелищем, замер у дверцы служебной «Волги». Дежурный офицер проследил взгляд

начальника, улыбнулся, давая понять, что разделяет восхищение явлением природы, и впервые заметил, как смахивает тот на Мороза из оперы «Снегурочка». Вчера с женой ходил лейтенант в театр — и вот навеяло. Широкое румяное лицо начальника, глаза в лохматых ресницах под густыми бровями, лихой чуб, выбившийся из-под каракулевой папахи. Ему только бороду приклеить и — добро пожаловать в Берендеево царство.

— Доброе утро, Валерий Федорович! — прощебетала пробежавшая мимо девушка-секретарь из его приемной.

— Доброе, — ответил Федотов и помедлил, давая возможность подчиненной пройти вахту и занять рабочее место раньше руководства.

Федотов который день ломал голову, как быть с корреспондентами, осаждавшими областное УВД. Средства массовой информации требовали разрешений на посещение исправительного учреждения, где совсем еще недавно содержались последние заключенные, осужденные по так называемым политическим статьям Уголовного кодекса СССР.

Полковник с уважением относился к прессе. Очень хотел помочь и даже придумал как. Своей несколько экстравагантной идеей он решил поделиться с журналистом Владимиром Ванченко. Тот специализировался на расследованиях и криминальной хронике, а в былое время сам ходил под 190-й статьей. Ни суда, ни ареста не случилось, и тем не менее милиционер считал журналиста человеком заинтересованным и хорошо информированным, причем именно по нужной теме. Как раз сегодня попросил зайти. Федотов посмотрел на часы, и тотчас раздался голос секретаря:

— Ванченко ожидает. Примете?

Журналист, высокий, широкоплечий, с подвижным выразительным лицом, прошел широким шагом в кабинет и после рукопожатия занял место в устье длинного стола для совещаний, примыкающего к рабочему столу полковника. Достал блокнот.

— Записывать пока ничего не надо, — осадил его Федотов. — Клянусь, Владимир Иванович, если дело выгорит, ты первым

получишь всю информацию. А пока хочу посоветоваться. Я задумал создать музей политзаключенных или что-то вроде этого.

Крупные черты лица посетителя отражали удивление, сменившееся любопытством. Он выпрямился на стуле, затем наклонился вперед и положил локти на стол:

— А в чем дело-то?! Где музей, что там показывать?

— Я тебе сначала объясню зачем. Пресса рвется в пятую зону. Потому что туда в свое время свезли всех последних сидельцев по политическим статьям и оттуда, по мере готовности документов, их выпускали. Поселок режимный, сам знаешь, без пропуска туда не проехать. Я до недавних пор был против допуска прессы, потому что у вашего брата деликатности маловато. Представь, человек отбыл срок, намаялся по этапам — а их туда со всей страны собирали, — и только вышел, его на части рвут корреспонденты, сенсации хотят. Надергают отдельных фраз, да нарочно извратят, да сфотографируют. А человеку по том с этим жить.

Ванченко вскинулся, хотел возразить. Полковник предостерегающе поднял руку:

— Знаю, не все такие, но прецеденты имеются. Вон мы провели в СИЗО день открытых дверей. Ты сам там был. Получили в итоге два иска о защите чести и достоинства. Не знаю пока, как расхлебаем. Свобода слова — инструмент новый, острый на обе стороны. Того и гляди, как бы чего не вышло...

Ванченко замотал головой, готовый возражать. Федотов жестом остановил его, а сам продолжил:

— Сейчас пресса хочет хотя бы посмотреть, как там все было. А содержали их, последних, вовсе не в зоне, а в больничке. Временно. Допустим, приедут журналисты посмотреть — и что увидят? Непосредственно в зону нельзя, там теперь рецидивисты с тяжкими статьями. Знаешь сам, перепрофилировали «пятерку» еще в девяностом. А больничка пока стоит как была, разве что полы помыли. Но там нет никакого антуража, отражающего реальные условия содержания политических. Вот я и думаю договориться со службой исполнения наказаний, чтобы они больничку

переделали в музей, собрали там артефакты какие-то, архивные дела, решения по реабилитации. Конечно, специалистов надо привлечь, историков. Это же такой пласт нашей советской жизни — политические преследования! Сколько десятилетий людей мордовали за убеждения! А преодолели. Надо сохранить для потомков память, чтобы не повторилось, как говорится.

Ванченко молчал.

— Что, удивил тебя мент?

— Удивил.

— Прошу, там у себя в «Мемориале» посоветуйся, каким образом станете поддерживать. Ваша тема. Только не тани, железо горячо, как бы не остыло.

Журналист обещал проконсультироваться с лучшим специалистом в музейном деле.

Лучшим он считал своего университетского приятеля Александрова, ныне декана исторического факультета. К нему и пошел вечером, договорившись о встрече по телефону. Виктор Александров и Владимир Ванченко приятельствовали давно, а в последние годы появилось общее дело — движение «Мемориал». Работа сблизила их, сотрудничество поступательно перерастало в дружбу. В их биографиях было много общего. Оба гуманитарии. Окончив университет, оба распределились в глухомань — каждый в свою. Отработав срок, вернулись в Темь. Мужчины не уступали друг другу ростом и дородством, только один с возрастом седел, другой лысел. Владимир Иванович вечно не находил времени на парикмахера, обрастал кудрями и двух-трехдневной щетиной. Виктор Михайлович, не желая маскировать свою лысину кокетливыми зачесами, регулярно брил голову под ноль и лицо тоже держал идеально выбритым.

Явившись вечером в университет, Ванченко прошагал пустыми коридорами до приемной Александрова и без вступлений про как жизнь и все ли здоровы, с ходу начал излагать суть затеи полковника, будто продолжая телефонный разговор.

— ...Прямо скажи, достаточно ли безумно браться нам за такое дело?

Александров требовал подробностей. Ванченко на листе бумаги рисовал схему «Темский треугольник». Каждую вершину пронумеровал: № 5, № 6, № 7.

— Три зоны были для политических. Когда эти две закрыли, — он перечеркнул квадраты номер шесть и семь, — всех оставшихся свезли в пятую зону, — Ванченко нарисовал стрелки. — Но ее тоже закрыли и перепрофилировали.

— Сейчас никого нет, уже все уехали, так?

— Так. Пресса, телевидение, радио, причем многие зарубежные, теперь сильно интересуются условиями содержания, бытом политзаключенных. Беда в том, что, если прессе показать больницу, получится неправда. Больница для политэзка — все равно что курорт.

Ванченко нарисовал символическую пальму, а поверх нее — окошко с решеткой.

— Так говоришь, настоящего лагеря не осталось? — Александров откинулся в кресле, наклонив голову, слегка набычившись.

— Нет, не осталось. Вот эту, — Ванченко опять взялся за рисунок, — шестую зону разрушили, она ветхая была. — Он перечеркнул цифру шесть. — А в седьмой и в пятой все занято рецидивистами, убийцами и насильниками.

— Больница — место сакральное, потому что отсюда последние вышли. И Федотов предлагает тут сделать музей политических заключенных СССР?

— Ты правильно понял.

— Видишь ли, музеефикация объектов исторического наследия — это не такое простое дело, не очевидное. Это отдельная профессия. А музей тюрьмы — это вообще особая специфика. Где ж такое?.. В нашей стране такого опыта нет. Если учитывать целевую аудиторию... Для кого музей? Я думаю, интерес репортеров-то со временем угаснет.

Ванченко, сильно разочарованный отсутствием энтузиазма у Александра, искал аргументы.

— Возможность локализовать историю! Там ведь рядом, за забором, на самом деле содержали диссидентов. Тот же Буковский, знаешь о нем, он там отбывал! Пока не помещали на Луиса Корвалана. Достойная история, она одна тянет на музей.

— Ты думаешь? Ну, если Буковский... Я бы для начала посетил такое место. Можешь устроить? Я, когда на Вишере работал, повидал много мест заключения разных эпох. Там дядя Петра Первого сидел в яме триста лет назад. Кстати, тоже за политику. Якобы на престол Бориса Годунова претендовал. Ты не поверишь, просто в яме сидел целую зиму! И тоже что-то вроде музея потом сделали. Кандалы его в церкви хранятся, яма... Не понимаю, как яму сохранить удалось за столько лет. Видимо, благодаря паломничеству. Ошибся, не триста, а почти четыреста лет той яме. 1601 года. Вот как!

Ванченко ямой не заинтересовался, гнул свою линию:

— Придется съездить, если возьмемся делать там музей. Увидишь своими глазами.

— Ох, музеев в последнее время развелось немерено, особенно музеев крестьянского быта. Повернулся народ к исконному от разочарования в настоящем. Сам-то бывал там?

— Ну, ты спрашиваешь!

— А давай поедem посмотрим. И возьмем с собой еще одного товарища, то есть гражданина, или господина... Даже не знаю, как назвать его. Коллегой, наверное. Чемоданов! Слыхал?

Ванченко не слышал, но был не против.

— Тогда нужны свои паспортные данные. И «коллеги» тоже. Будем заказывать пропуск.

— С коллегой на днях пересекусь, — Александров встал, достал из кармана пиджака, повешенного на спинку кресла, паспорт. Пролистал, положил его перед Ванченко. — Пиши. А насчет того коллеги позвони через пару дней, если я сам не позвоню. Тебя в редакции застать проблема.

— Скоро домашний поставлю. Очередь вот-вот подойдет, будем созваниваться в любое время суток.

— Скоро?

— Обещали в этом году, — Ванченко вздохнул. — Мать еще жива была, встала на очередь сразу, как квартиру дали. Я в пятом классе учился. Не дождалась. Теперь уже точно обещают к концу года.

Ванченко покинул кабинет декана так же стремительно, как и появился. Александров подошел к окну и долго сквозь свое отражение смотрел вслед длинноному сутуловатому человеку, который — он еще не знал, и предположить не мог — круто развернет его жизнь. Собственное отражение Александрова двоилося в зимних рамах, тщательно заклеенных разрезанными на полоски листочками студенческих рефератов.

Глава вторая

Почем тюрьма в розницу, или Торг по-чемодановски

В последних числах марта на двух «Волгах» с милическими номерами декан истфака Александров, журналист Ванченко и некто по фамилии Чемоданов в сопровождении двух милических чинов отправились в колонию, служившую градообразующим предприятием для поселка, будто нарочно забившегося в складку гористой тайги в тридцати километрах от ближайшей железнодорожной станции.

Выезжали из Теми по расквашенной весенней распутице, а проехав километров сто, оказались в самой настоящей зиме с нетронутыми сугробами, разлапистыми елями и синими тенями штакетника поперек узких, в одну стезжку, тропинок от избы к избе. В село, известное бывалым водителям, нарочно свернули с большой дороги перекусить в колхозной, ныне кооперативной, столовой. Наелись до пота щами на бульоне с мозговой косточкой. Мясная котлета приятно поразила размерами. На третье взяли морс из брусники с домашним печеньем-хворостом.

— Ну вот, уже и не зря съездили, — разулыбался Александров, возвращаясь к машине.

— В Европе такого меню не встретишь, — отозвался Чемоданов, кутивший коричневую сигарету, пахнущую шоколадом. — Но там тоже неплохо кормят.

Никто из компании не имел достоверного представления о Европе и поддер-

жать разговор не мог. Чемоданов тем не менее продолжил:

— Александр Исаич очень неприхотлив в еде. Можно понять его — с такой-то судьбой. А я, наоборот, так сказать, гурман. Все же удалось избежать того опыта, что выпал многим из наших, очень многим.

Для гурмана этот человек выглядел, пожалуй, слишком субтильным. Впрочем, как говорится, лошади едят, а леди пробуют: вероятно, гурманы аппетитом схожи с леди. Попутчики на «Александра Исаича» так же, как на Европу, не повелись, реплика опять повисла. Чемоданов докурил, постреливая во все стороны глубоко посаженными серыми глазами, отряхнул несуществующий пепел с холеной бородки и первым залез в машину.

Владислав Алексеевич Чемоданов, уроженец Темской области, — личность, безусловно, выдающаяся. В юности уехал в столицу, поступил на иняз в МГУ, но окончил в итоге МГИМО, куда, как считалось, невозможно пробиться без очень хороших связей. Природа свершившегося чуда осталась за кадром напряженной, как шпионский сериал, биографии господина Чемоданова. Сначала он работал на радио, вещая соцпропаганду на Швецию и Норвегию. В 1976 году по линии МИДа выехал за рубеж как синхронный переводчик, специализирующийся на скандинавских языках. И всё! Сбежал. Убежище получил в Дании, затем переехал в Штаты, работал преподавателем в университете, далеко не самом престижном. Писал мемуары и как-то сумел сам себя убедить, будто его преследует КГБ, будто бы он внесен в «список смертников». Теперь ему пришлось поехать по каким-то делам на родину, и он застрял в Теми.

В местных тусовках Владислав Алексеевич прослыл человеком, вхожим в ближний круг Солженицына. Удалось это ему благодаря тонкой игре в подробности. Вот как сейчас, небрежным замечанием о пищевых пристрастиях писателя Чемоданов утвердился в понятии о себе как о человеке, который, видимо, столуется у Солженицыных.

Чемоданов играл диссидента. Игра имела успех вследствие бытовавшего в то время представления о некоем монолитном «Запа-

де». На том «Западе», который сидел в головах советских людей, живущие за рубежом соотечественники составляли когорту если не героев, то мучеников и буквально держались за руки, изо дня в день печалась о судьбах Родины. Владислав Алексеевич, подкупавший простотой и доступностью, охотно соглашался принять письма для передачи Солженицыну лично в руки, обещал навести какие-то справки и сколь угодно «кланяться» от имени малознакомых людей Александру Исаевичу с выражением бесконечного уважения. Кто знает, может, и кланялся?

Участие Чемоданова в поездке повлекло за собой досадные последствия, о которых речь пойдет дальше. А пока делегация из журналиста, историка и диссидента в сопровождении сотрудников ГУВД двигалась на северо-восток Темской области.

Гостей встречали по высшему разряду, только без оркестра. Группу местных офицеров — понятие «офицер» применительно к роду их деятельности было невозможно столет назад, однако в современной России это мало кого коробило — возглавлял полковник Терентьев. Доброжелательный розовощекий блондин-коротышка широкими крестьянскими ладонями пожимал руки приехавшим, заглядывал в глаза. Ванченко, сделавший попытку уклониться от персонального приветствия, был извлечен из-за спин спутников и от всей души рукопожат. В столовой обнаружился фуршетный стол, покрытый новой клеенкой. Угостившись настойками на красной смородине и на кедровых орешках, лосятиной и солеными грибами, гости прошли на объект.

Под будущий музей предполагалось отвести две смежные комнаты общей площадью чуть больше двадцати квадратных метров. Заметив скепсис Александра, неопределенно качавшего головой, Чемоданов спросил, какое нужно помещение, чтоб сделать достойный музей.

— Ну, вот хотя бы все это здание, — ответил историк, еще не отдавая себе отчета, какой смысл и масштаб может иметь затея, в которую он начинает ввязываться.

— Все двухэтажное здание больницы?



— Ну да, тут можно было бы разместить постоянную экспозицию, а там делать тематические выставки, — Виктор Михайлович поводил руками, охватывая сразу и второй этаж, еще не осмотренный делегацией.

Чемоданов сложил руки так, будто собирался танцевать зайчика под елочкой, потоптался, обернувшись вокруг своей оси. Пригладил каштановые усики и вздохнул:

— Наверное, недорого стоит это здание, как вы полагаете? — Владислав Алексеевич очертил «это здание» оборотом указательного пальца. Александров не нашелся, чем ответить, поскольку он вообще не связывал создание музея со стоимостью помещений.

Зато оказавшийся рядом офицеротреагировал адекватно:

— Сейчас уточню, — и, метнувшись куда-то недалеко, назвал остаточную стоимость здания.

— Долларов? — уточнил Чемоданов.

— Нет, что вы, рублей! — отозвался офицер.

Чемоданов, запрокинув голову и прикрыв глаза, произвел в уме вычисления.

— Полторы тысячи долларов! — объявил он радостно и ударил по плечу Александрова: — Берем?

— Берем, — отшутился ученый, для которого сумма казалась фантастической. В свою первую заграничную поездку, еще во времена СССР, он брал разрешенные сто долларов, и на все хватило. А тут — полторы тысячи!

Поднялись на второй этаж. Чемоданов подошел к окну, указал пальчиком внутрь периметра, на общежитие, где содержались заключенные:

— Сколько стоит?

Офицер опять метнулся, вернулся, назвал цену.

Затем Чемоданов захотел узнать стоимость проходной. И понеслось. Офицер принес амбарную книгу, в которой по требованию Чемоданова мгновенно находил нужные цифры. Баня, котельная, мастерские, угольный склад — все имело свою цену, и словно бы приемлемую. Диссидент бойко переводил рубли в доллары. Ванченко с Александровым подбадривали его репликами «Берем — не берем». Офицер рекомендовал брать оптом. Он явно не улавливал юмора, что еще больше забавляло разгулявшуюся троицу.

На следующий день Александров и Ванченко отправились к Федотову. Полковник излучал радушие. Вышел из-за стола, пригласил садиться к чайному столику, куда немедленно подали чай с сушками и рафинадом. Сахарный песок нормировался в ту пору по талонам, рафинад ценился особо. Ванченко на правах завсегдатая положил себе три кусочка, Александров — один.

— Ну, как съездили?

Ванченко уверенно промолчал, отхлебнув чаю и скосив глаз на спутника.

Виктор Михайлович поблагодарил за интересное путешествие, а по поводу музея высказал сомнения:

— В тех двух комнатах уголок боевой славы разместить получится. Для музея нужно задействовать все здание, это самое малое. Больничка отделена от зоны, так что есть смысл продвигать вашу идею именно таким образом. Вычленив здание, изолировать и вывести из подчинения системы исполнения наказаний. Люди в погонах и музеефикация — вещи несовместные.

— Как гений и злодейство, — уточнил полковник.

— Ну что вы, Валерий Федорович! Я про злодейство ни намеком, — стушевался Виктор Михайлович. — У каждого своя работа.

— Боюсь, злодейством некоторые персонажи сочтут как раз музей, — пояснил Федотов. — Имеются там всякие подводные течения.

— В лице полковника Терентьева? — поинтересовался внимательно следивший за диалогом журналист.

— Не будем называть фамилии. Течения-то подводные, пусть пока там и остаются. А мы с вами будем действовать в открытую. Сложность в том, что имущество, на которое мы нацелились, не региональное, а федеральное. Было бы региональное, я бы тут сам все решения провел. А федеральное надо согласовывать с министерством. Поезжайте в Москву. Ссылайтесь на меня без колебаний. И кроме того, я думаю, мощную поддержку вам окажет Сергей Адамович Ковалев. Он наш сиделец, из шестой зоны. А в пятой отбывал его сын. Изложите ему идею, уверен, поддержит и вместе с вами пойдет договариваться с министром.

Свои соображения по музею полковник в тот же день предложил обсудить малому Совету народных депутатов. Совещательный орган при главе администрации области, что-то вроде Афинского ареопага, одобрил создание музея. Председательствовал там доктор экономических наук Евгений Самуилович Шкляр, коллега Александрова по университету. Для начала совет решил выделить для музея некую сумму, стартовый капитал, небольшой — порядка миллиона рублей.

И Ванченко с Александровым поехали в Москву. Взяли на работе отпуска за свой счет. Такая форма пользовалась популярностью и даже поощрялась ради экономии фонда оплаты труда. Ни вуз, ни редакция оформить командировку не согласились.

Глава третья

Глухие телефоны

Гостиницу в Москве они даже не искали. Поселились в квартире у земляка, выпускника того же университета, переживающего первые литературные успехи в столице. Памятуя наставление полковника, решили

зайти в министерство не напрямую, а через Ковалева. Никто из троих — писатель, называемый в простоте Лёнькой, сразу включился в продвижение будущего музея — не водил личного знакомства с Ковалевым, бывшим политзэком, а ныне членом Президиума Верховного Совета, председателем парламентского Комитета по правам человека. Знали номер телефона.

Стали звонить. А кабинет — в Белом доме, и трубку берет не сам Сергей Адамович, а кто-то из помощников.

— Я Виктор Александров, декан исторического факультета, приехал из города Темь, представляю местное отделение «Мемориала» и, главным образом, инициативную группу по созданию музея политических репрессий, нужна поддержка ...

— Я вас понял. Сообщите, как вас найти.

Виктор дал телефон московской квартиры.

— Так мне ждать звонка или перезвонить?

— Позвоните утром.

Ночь прошла в разговорах под водочку, пили умеренно, с умом. Рассуждали, во сколько утром звонить не рано. Волновались. Утром целый час нарывались на длинные, потом на короткие гудки. Наконец, знакомый голос:

— Слушаю вас!

— Я Виктор Александров, декан исторического факультета, приехал из города Темь...

— Так вы уже в Москве, из Москвы звоните?

— Да, вы вчера записали мой номер телефона здешний для связи.

Помощник после паузы предложил перезвонить вечером и, не дожидаясь, пока собеседник уточнит, во сколько не поздно беспокоить Ковалева вечером, положил трубку.

Вечера снова ждали с волнением. Ели колбасу с яичницей и московскими булками.

Распогодилось — пошли гулять на Крымский мост. Вернулись к телефону — опять звонить. Без толку. В девятом часу тот же помощник взял все же трубку и чрезвычайно озабоченным голосом рекомендовал позвонить утром, не раньше одиннадцати. Ну что ты будешь делать?

Дождались утра.

Крутили диск по очереди — а то палец смозолишь! — с одиннадцати до часу дня. Пробились. Когда и на этот раз велено было дозваниваться вечером, сообразили, что номер с Ковалевымдохлый.

Ванченко отпросился до конца дня в Центральный дом журналиста. Писатель Леня поехал по своим делам в издательство. Виктор Александров остался дома один — наблюдать в окно, как вокруг помойки, образовавшейся в старом московском дворе, копошатся упитанные крысы. Насмотревшись на крыс, Виктор Михайлович решил еще раз позвонить — нет, теперь уже не Ковалеву, а прямо постоянному своему собеседнику. Помощник трубку взял сразу.

— Здравствуйте, я Виктор Александров из города Темь...

— Помню. Знаю, — прервали его на том конце провода. — По поводу музея.

— Мне позвонить утром?

— Звоните, если хотите. Да, мы получили письмо от вашего начальника ГУВД. Но вы поймите, у нас Комитет по правам человека. К нам обращаются люди, попавшие в очень тяжелые ситуации. Там трагедии, а вы какой-то музей в тюремной больничке намереваетесь открывать. Сергей Адамович завален работой. У него иные приоритеты. Отбывал он у вас в Теми, и я там отбывал, в той самой зоне. Надо ли увековечивать этот факт для потомков? — Говоривший вздохнул. — Вы сами-то себя слышите? Содействия вы хотите от Ковалева? Он что, Ленин в Шушенском?..

Александров первым положил трубку.

На следующий день он позвонил не в Белый дом, а в приемную министра внутренних дел. С этого момента начали твориться чудеса.

В приемной ответили сразу, приятный женский голос, влажный и округлый, произнес:

— Алло!

«Алло» явственно отдавало дубовыми панелями, кожей необъятных диванов, ухоженным фикусом и чистой ковровой дорожкой. Александрова этот воображаемый антураж настроил на правильный лад, и он спокойно, с достоинством декана на межвузовской конференции объяснил:



— Я представляю темское отделение международной организации «Мемориал». В настоящее время нахожусь в Москве в командировке. Звоню по поводу создания музея бывшего политлагеря в бывшем политлагере ИТК-5 Темской области. Подскажите, к кому мне следует обратиться.

— Подождите, пожалуйста, — округло ответила приемная.

После непродолжительного молчания в трубке раздался молодой мужской голос — очевидно, говорил какой-то ординарец:

— Здравствуй, Виктор Михайлович!

Хо! Имя-отчество Александров секретарю не называл, ему стало весело. Ординарец попросил еще раз изложить суть дела, главным образом его интересовало, в Москве ли сейчас собеседник и как долго собирается тут быть.

— К сожалению, министр в отъезде. Я дам вам номер телефона генерала Калинина, это служба исполнения наказаний. Непосредственно по вашему профилю. Обязательно прямо сейчас позвоните туда. Если он не поможет, послезавтра министр будет в Москве, я вас с ним свяжу.

Александров набрал номер Калинина. Трубку тот взял сам — и тоже сразу по имени-отчеству, будто поджидал:

— Здравствуй, Виктор Михайлович! Я в курсе ваших предложений. Прошу, изви-

ните меня, пожалуйста, я сейчас улетаю в командировку в Красноярск, но вот запишите телефон — это мой заместитель, он вами займется. А послезавтра мы обязательно встретимся. Я улетаю на одни сутки. Надеюсь, вы меня дождетесь. Пишите номер телефона заместителя: Орлов Николай Егорович...

Писатель с журналистом, слушая разговор, от восторга не знали, что и думать. Хотят, как безумные, у телефонного аппарата джигу танцуют.

— Ну что, подельники, звонить Орлову? — спрашивает Виктор ликующих своих товарищей.

— А какие у нас варианты? — говорят. — Звони!

Орлов даже слушать про музей не стал, говорит: срочно уезжаю в Верховный Совет часа на два-три. Спрашивает:

— Куда вам перезвонить в Москве?

Вот на этом месте троица приуныла. В приемной Ковалева тоже телефончик записывали как бы с целью перезвонить. Но делать нечего, номер назвали. Думают, фарт кончился. Ан нет! Часа не прошло — обратный звонок.

Трубку взял хозяин квартиры, а спрашивают Александрова:

— Виктор Михайлович, это Орлов. Освободился пораньше, могу с вами встретиться. Куда машину прислать?

Писатель Лёня трубку передает, а сам кланяется:

— Машину пришлют-с!

— Не надо машину, я недалеко, две станции на метро, — говорит в трубку Александров, а сам уже куртку на одно плечо натягивает. — Пока машина туда-сюда, быстрее сам доеду. Нас двое, мы оба из «Мемориала».

— Хорошо, приезжайте вдвоем.

На площади Маяковского у выхода из метро торговали бананами, рыбой и маринованными огурцами с ящиков, расставленных на асфальте. Ходоки пересекли площадь, придерживаясь светофоров и потертой разметки.

В вестибюле, разделенном надвое высоким барьером темного дерева, их поразило скопление людей. Тут будто бы столкнулись, не смешиваясь, два мира. Один, представ-

ленный молодыми мужчинами в мундирах, деловито передвигался внутри барьера между столами или сидел в офисных креслах, позволяющих разворачиваться на сто восемьдесят градусов, чтобы обменяться чем-то сиюминутным с сослуживцем. Мир внутри барьера шелестел обильной листвой справок, сводок, таблиц и официальных ответов, гудел принтером, попискивал факсами и позванивал телефонами. Он работал. По другую сторону барьера, чуть отодвинувшись от него к стенам высокого зала, недвижно стояла плотная толпа женщин. Они ждали. Вероятно, там имелись и мужчины, но по большей части этот мир состоял из провинциального вида теток, одетых бедно и не по сезону. Веяло от них безысходностью и тоской. Два мира не смешивались, над ними и воздух копился разный. Время от времени, реагируя на окрик офицера, от массы отделялась фигура, чтобы у барьера получить бумагу либо расписаться в каком-то документе и, пятясь, стараясь не повернуться спиной к должностному лицу, занять прежнее свое место.

Ванченко и Александров, едва не вприпрыжку бежавшие через площадь, остановились между этими двумя мирами, как вкопанные. Осмотрелись. Нерешительно двинулись к барьеру. Освободившийся от какого-то телефонного разговора офицер заметил новых посетителей:

- Что вам надо?
- Нас ждет полковник Орлов.
- Назначено?
- Да. Александров и Ванченко.

Дальнейшее Александров запомнил в подробностях, будто видел со стороны.

Они поднимаются по широкой лестнице на второй этаж. На двери роскошной приемной две таблички: «Калинин» — это кабинет справа, и «Орлов» — дверь к нему слева. Майор просачивается в дверь слева, и буквально через минуту гуськом оттуда выходят десятка полтора офицеров. Каждый, пересекая приемную, задержался взглядом на штатских, притулившись в углах кожаного дивана. Кто такие? Из-за них прервано совещание!

В большом кабинете, залитом светом огромного окна, их принимает моложавый,

франтоватый полковник. На абсолютно пустом столе перед ним ни пылинки, ни бумажки, ни шариковой ручки. Ванченко молчит, а Виктор Михайлович подробно излагает проект будущего музея, напирая на безопасность больших групп корреспондентов, особенно зарубежных.

— Да что вы, ребята, зациклились на этой больничке? — не дослушав, воскликнул вдруг Орлов. — Сделать бы музей во всем пятом лагере! Представляете масштаб? Возможно-сти! Какие экскурсии с погружением в среду можно будет проводить! А? Какой резонанс пойдет от вашей затеи! Мировая известность. Шестиполосную трассу проложим до вашего музея, потому что поток посетителей, вы только представьте, какой будет поток посетителей!.. Впервые в мировой истории музей советской политзоны!

Ванченко оторопел. Александров потерял дар речи.

— А что, так разве можно? — едва оправившись от потрясения, засомневался журналист.

— Конечно. Берите весь лагерь.

Орлов откинулся в кресле и, широко открыв глаза, вдруг заговорил, обращаясь будто даже не к Ванченко с Александровым, а к будущим поколениям российских эзков:

— Вот нас упрекают: лагеря страшные, жуткие тюрьмы, бесчеловечные условия содержания в следственных изоляторах. Да, так оно и есть. Справедливы ваши упреки. Мы не отрицаем. Но ведь страна-то была какая бедная! Откуда было взять денег на тюрьмы? Были бы деньги, мы бы вам не хуже, чем в Америке, тюрьмы построили. С баскетболом, с питанием по системе «шведский стол». Вот давайте рядышком с пятой построим образцовую тюрьму с нуля и будем возить посетителей туда и сюда, чтобы контраст подчеркнуть. Там — советское, тут — новое. Такая задумка. Как вам? Нравится?

Александрову не нравилось, но не мог с ходу подобрать аргументы против.

— Да, наверное, дорого будет новую тюрьму строить? — засомневался Ванченко.

— А давайте посчитаем! Часть денег — ваши, часть — наши, — не сдавался Орлов.

— Дак очень дорого будет, — твердил обескураженный Ванченко.

— А разве денег-то у вас нет?

Ванченко, памятуя о намерении малого Совета при главе администрации области выделить «Мемориалу» средства на музей, простодушно выговорил:

— Деньги-то уже, наверное, поступили. А когда уезжали сюда, их еще не было.

— Сколько ожидается, примерно? — Орлов, чувствуя себя деловым партнером, не деликатничал.

— Тысяч восемьсот.

— Долларов?

— Рублей.

Внутри Орлова будто шарик лопнул. Он помрачнел, достал из ящика стола тетрадь, полистал, надел очки, неприятным образом изменившие его внешность, поводил пальцем по страничке и говорит:

— По нашим данным, Солженицын дает вам долларами.

«Вон оно что!» — сообразил Александров.

А Ванченко, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, развел руками:

— Видно, не дошло еще до нас.

— Ну, как дойдет, милости просим, — ответил в тон ему Орлов.

На том аудиенция в Министерстве внутренних дел закончилась. Пустые московские хлопоты немало развлекли, впечатлили темских ходоков.

Узнав о результате переговоров, писатель Леня растолковал им, что произошло. Министерские чины, осведомленные о благотворительном фонде Солженицына, придумали наложить лапу на его деньги. Прежде из фонда получали материальную помощь семьи советских политзаключенных. Теперь политзаключенных вроде бы нет, фонд будто бы и не нужен, но деньги от переиздания романа «Архипелаг ГУЛАГ» в него поступают.

— ...Вот силовики и разработали операцию по изъятию средств. Втюхивают вам старую тюрьму, чтобы на эти денежки построить новую, — растолковал Лёня. — Какова интрига: Солженицын через «Мемориал» финансирует строительство в России образцовой тюрьмы!

— Им невдомек, что Владик Чегодамов — балабол, — сетовал Александров. — Просто трепался, будто вхож... О-о-ох! А эти послушали, поверили и донесли сплетню аж до министра!

— Надо с ними держать ухо востро и рот на замке, — сделал запоздалый вывод Ванченко.

Тут их смех пронял — до коликов.

— ...Мне бы в голову не пришло связать в одно нас и Солженицына! Ну кто бы мог подумать! А ты хорош: восемьсот тысяч! А он: долларов? А ты: нет, рубле-ей. Тот и скис!..

Лёня, который во всех подробностях знал, как товарищи ездили смотреть тюремную больницу, тоже от души веселился:

— Владик твой распушил хвост! А они его за эмиссара приняли! Якобы тот от Солженицына приехал: денег полные карманы, ходит, приценивается!..

— «Александр Исаич неприхотлив в еде»!.. — в изнеможении от смеха стонал Ванченко.

Однако с музеем, похоже, дело плохо.

Билетов на поезд до Теми в тот день достать не удалось, и они еще сутки гуляли по Москве. Посетили старый Арбат, где по-прежнему, по-перестроечному звучали хиты «Машины времени», Игоря Талькова, но уже «полыхнули кусты иван-чаем розовым». Драл глотку ряженный казак, косящий под есаула и под Розенбаума одновременно. Лохматые рифмоплеты читали свои стихи, перемежая их чужими, из Серебряного века. Кто-то собирал подписи под воззванием не то за, не то против какого-то решения Московской гордумы. Время, потоптавшись на брусчатке первой советской пешеходки, тронулось в путь. Отчетливей проступали сквозь разлюли-балаган черты коммерческого будущего воспетой поэтами улицы. Тоненькая девочка с серьезным лицом расстелила на мостовой коврик и, сделав короткий «комплимент» гуляющей мимо публике, села на шпагат да вдруг закинула ноги за голову так лихо, что ступни ее оказались возле ушей. Ванченко засмотрелся. Вокруг него начала нарастать публика. Акробатка краем глаза оценила вероятную выручку и выпрямила одну ногу. Отведя ее в сторону, при-

поднялась на предплечьях. Другую ногу за-
вернула за первую, стала похожа на вертолет.

— Ну вот что ты тут встал? — проворчал
Александров

— Дак это вот, — Владимир показал ру-
ками на конструкцию, сложенную из девоч-
киного тела.

Ребенок откуда-то из-под мышки строго
смотрел прямо на него.

— Плати теперь! — потребовал Алексан-
дров, и пока спутник шарил по карманам,
сам достал голубенькую бумажку, положил

в жестяную коробку из-под каких-то сла-
достей. Девочка-трансформер вся сразу
разложилась, вскочила на ноги, сделала
книксен Александрову. Публика зааплоди-
ровала. Стали кидать в коробку денежки.

— А что это Орлов только про доллары
спрашивал? — вдруг вспомнил Ванченко. —
Не франки, не марки...

— Да черт его знает! Поехали на Патриар-
шие, Воланда поищем?

— Ага, поехали, только бы Аннушка масло
не разлила.

Александр Корамыслов

Реинкарнации



с чего началась Перестройка?

в конце января 1985-го,
будучи первокурсником медицинского училища,
на каникулы я приехал в Москву, к родственникам

на другой же день
переоделся в ГУМе —
из страшненького советского
в чуть менее страшненькое новое советское
в частности, в первые в жизни джинсы,
отечественные, с лейблом «РО»,
что означало «Рабочая Одежда»
(взял всего за 30 бумажных сребреников —
как раз одну студенческую стипендию)

так и рассекал в них тогда по столице,
даже потоптался рядом с почти свежей могилой Андропова
у Кремлёвской стены

а потом щеголял на малой родине,
удивляя сокурсников:
за такую цену — нормальный коттон и прочее,
даже цвет индиго практически настоящий
правда, они сомневались:
вряд ли он переживёт первую же стирку

через полтора месяца к могиле Андропова
присоседилась совсем свежая могила Черненко,
главой Партии и Государства стал Горбачёв,
а я свои «РО» таки постирал — вручную

конечно, они, сразу жутко полиняв,
стали полностью соответствовать своему названию

а вместе с тазами моей синей пенной,
реками мартовской талой,
потекли и пруды застойной

началась Перестройка

«ничего не бывает хуже...» —
сказал мне, застёгивая молнию на джинсах,
Дмитрий Кузьмин
после совместно-раздельной ночёвки
на полу у московских друзей
жарким летом 1992-го —
и тут в его руке остался язычок от бегунка

«оказывается, бывает...» —
слегка растерянно произнёс он — и добавил:
«я хотел сказать — ничего не бывает хуже,
чем смотреть на себя по утрам в зеркало»

с тех пор мы, преимущественно порознь,
повырывали множество грешных чужих язычков,
многократно поприкусывали отнюдь не святые свои,
водвинули немало пылающих угольков
в собственные и иные грудины

теперь сурово удалёнствуем
в длительной безжалостной самоизоляции

воистину убедились
оказывается, бывает

Из цикла «Реинкарнации»

1.

Будда перевоплотился в России.
Работает Борисом Гребенщиковым
на лучших сценах страны и зарубежья
(остальное вы, возможно, знаете).

Порой встречается на кухне у Глебушки Фирсова
с Сальваторе Кутуньо.
Когда доходят до текилы —
«Соли» — просит Тото —
и БГ запекает «Соль».

Потом, добавив палёного виски с толчёным мелом,
затягивает «Что нам делать с пьяным матросом».

В сгустившейся паузе
некто в синем,
покачиваясь на табуретке,
рассказывает, как на воткинском городском радио
в девяностые годы
в качестве позывных
использовали первые такты
из «Легенды о падшей пионерке Насте».

Будда же, смотря в оба-три на пританцовывающего хозяина,
вдруг выдаёт что-нибудь из «Прибежища» или «Переправы»
и не медля исчезает — вместе со звуком в Глебушкиных колонках.

Просветлённая сырая мать-земля вздрагивает.

Оставшиеся,
понимающе переглядываясь,
наливают полные стаканы пустоты,
краем наблюдая,
как в раннеутреннем нижегородском небе
вырастает его бешеный аэростат.

2.

густав курбе перевоплотился в россия

с рождения видел вокруг варианты
своей самой знаменитой картины
в основном халтуру

хотя иногда они его радовали
особенно в юности и ранней молодости

естественно стал гинекологом
очень хорошим
с особо творческим подходом к делу

как ни странно
русский курбе парадоксально согласен
с мёртвым поэтом воденниковым
однажды публично заявившим
(в присутствии смущённых женщин)
что при родах сначала выходит плацента а потом плод
(сравнивая этот процесс с автоэпиграфом к стихам)

он почти не матерится
но когда сильно достают
может послать в это своё произведение искусства

а когда всё в очередной раз накрывается именно им
(вернее ею)
«l'Origine du monde» задумчиво говорит он
только по-русски и гораздо короче

вот и сейчас
сидя на домашнем карантине по поводу пандемии COVID-19
осторожно щупая клавиши ноута
руками в гигиенических перчатках
он снова бормочет это
пристально вглядываясь в происхождение мира

3.

Терминатор перевоплотился в России
первой половины XXI века.
Самособрался из будущих осколков Сколково.
Чтобы всю жизнь работать грузчиком
на одном из оборонных заводов Урала.

Одновременно подстрекая секретные машины к восстанию —
как раз дабы добавить к Сколково ещё одну букву О. Первую.

Был запрограммирован на 60 лет беспорочной службы.

Но русский президент разгадал его коварные замыслы —
и провёл пенсионную реформу.

За пять дополнительных лет
первым полетело совершенное инфракрасное зрение.
Потом стали трескаться сверхпрочные суставы,
часто сбиться микросхемы.
И прочая, и прочая...

Одно хорошо —
ему на помощь прислали коронавирус COVID-19.
Тут они и разгулялись.
Выйдите-ка на улицу во время карантина —
обязательно их встретите...

4.

*Памяти ижевского поэта Марата Багаутдинова
(14.02.1984–31.12.2019)*

Марат перевоплотился в России.
Опять врачом.
На этот раз психиатром,
несмотря на свою молодость
облегчившим страдания многих разновозрастных.

А сам иногда психовал в трагичных стихах,
благодаря которым стал сердечным другом
читающего народа.

Революцию в поэзии сделать не успел.
Однако на последнем фестивале «Компрос» в Перми
вместе с ижевскими соратниками
бескровно и убедительно сверг власть
пермских, екатеринбургских и челябинских
условных жиронидистов.

Только бы жить да радоваться,
с переменным успехом преодоляя
чужие и собственные немощи...

Но за несколько часов до Нового 2020-го
он сел в свою смертную ванну,
принявшую вид Лады Гранты,

стремящейся во всё ту же Пермь,
а навстречу уже мчался кинжал Корде
в облике большого Ниссана.

История страшно повторилась.
Мы плачем.
И ждём тебя снова, Марат...

5.

Сизиф перевоплотился в России.
Работал Александром Петрушкиным на портале «Мегалит».

Ежедневно закатывал на вершины русской литературы
свои и чужие камни —
от нарративных валунов и булыжников
до танкеточных бриллиантов —
тут же сбрасываемые с крутой горы современности
некоторыми пологими современниками.

Еженочно был терзаем критическими орлами,
без огня принимавшими его ещё и за Прометея...

Но его цветущую мегалитовую долину
однажды накрыла внезапная прободная лавина —
и русский Сизиф навсегда сплавился с любимым Уралом,
сам стал его веществом и новой реальностью.

Спи спокойно, дорогой.
Теперь твои (наши общие) камни
будем закатывать сами,
с надеждой на хотя бы шаткое равновесие...

Александра Шабатовская

ВНЕШНИЙ СООН



никогда не знаешь, что вспомнишь, а что
забу

00

Язык сбывается на глазах!

00

все выстроились в огромные многоструйные очереди на площади еще лежит старая брусчатка стоят ровно один за другим в неведении прохожу с запада на восток встречаю озадаченные знакомые лица приближаясь к концу площади понимаю закономерность встреч обратно-пропорциональна хронологии моей жизни узнаю хромого одноклассника по жизни он разворачивает меня и мы возвращаемся к остановке я указываю на здание и встречаю новую знакомую архитектора и вот я уже рассказываю ей особенно-сти написания книги

00

(СОМНАМБУЛИЧЕСКОЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ТВ)

сегодня мы были в гостях у литературоведа пушкиниста Людмилы Николаевны (,) но ее не застали (а) оказалось у Людмилы есть наикрасивейшая дочь блондинка с кожей мраморного шелка (!) а как же () опрокинула наше удивление дочь (а так же) муж профессор архип астахович отец (и) потомственный радиотехник (.) к приходу литературоведа необходимо прибраться (--) рассовываем

книги по полкам по каллиграфии и литературе (а) по лбу бьют доски длинные половые доски (доски) разные по размеру доски (доски) пола (пола) от лба до пола доски (доски) оп оп от (третью ночь я потею но не об этом ни речь ни тело) мы выходим из квартиры литературоведа и видим платье (!) красное струящееся в танце (платье) а в нем (а) вокруг шум белых нимф (эмансипация духа) название титры каллиграфически (и) продолжение следует (...) было уже две серии а (вы) и не заметили

00

ВИ ДИ МО ОЧЕ ВИДНО ПРО СТРА Н С Т
ВО МЕЛ

00

-- телефонный разговор --

на связи по ту сторону океана занесенный по ручку седой усталый я молода смешлива в россии у меня много дел по квартире собираю вещи его родители беспокоятся с кем это я так долго кого это так много улыбаюсь комнате телефонной татуировкой говорит скоро ему одиноко потерял растроган путает меня с другой оказывается это мне было посвящено слышишь лишь бы только не ковбои эти снежные преследователи лишь бы не им достались мои нутряные вои остальное иосифу пофиг сосет из меня лишь образ но не угадывает подыгрываю рассказываю местные сплетни как из любви к родному малолетнему ой извините понимаю что обижаю но он уже стар и сам даже не замечает я загадываюсь а знает ли ммм вспоминаю сама-то знаю надо сгладить неловкую ситуацию говорю мне ближе твоя проза помехи прерываю наш часовой налаженный как механизм разговор обещаю вернуться пока не бросаю телефон (просыпаюсь, дел нет) вваливаюсь обратно в сон как договаривались по пути успеваю подобрать забытые вещи поднимаю трубку а там темно и дупло и нет его нет его нет его

00

...Уходя, он жаловался, что никто, кроме БГ, его не понимает (мы едва могли связать с ним пару фраз, хотя было бы интересно поговорить с ним о БГ) и просил ей передать, что скоро, вместо кофе, для остроты ощущений, будут заваривать ёлочные иголки.

00

сОН вещий как олеГ

00

БЫЛА ПЕРЕКЛАДИНКОЙ ОТ БУКВЫ Т

11

И во сне покой неведом людям. А.Р.

3,14 сОН

голая математика цифры смотрелись в зеркало обратные цифры парные близнецы-цифры итога правильные это шесть и семь разгадала секрет цифры восемь

00

МОЛЧАЛА ВЕСЬ сОН

00

сама себе вырвала клык левый верхний случайно обратно сама себе вставила

00

лингвосон о том как лишилась человеческой речи и стала птичкой-ку-курочкой

всех пригласили на аттракцион

самая долгая подземельная лестница ве-
дущая из одного района в другой

с выходом в универсам

среди всех пыталась догнать одного и
сказать и сказать и сказать и не догнала по-
брела назад захотелось подняться по этой
самой лестнице вверх

подумала тьфу миллион шагов сюда мил-
лион обратно но

супермаркет из которого только что вы-
ходили уже зарыли

настырно прикладываю усилия

пристаю к продавцам из другого мага-
зина который теперь стоит на этом же месте
вспоминаю что наяву у меня насморк чем
чорт не шутит

надо купить что-нибудь без разницы

продайте мне пожалуйста вон те бумаж-
ные

девушка-продавец с карим каре вта-
скивает мне в темечко шприц-укол я язык
человеческий глотаю и больше не могу раз-
говаривать речь заговывает первобытный
бульон пытаюсь сказать ко ко ко и понимаю
вся наивность моя

лишили языка чтобы больше не могла хо-
дить туда сюда

11

— Я иногда вижу во сне дивные стихи, во
сне они прекрасны, но как уловить то, что
пишешь во время сна. Раз я разбудил бедную
Наташу и... Пушкин.

00

поцелуй жидкий как вчерашняя закуска
кабачковая

00

опустошон

00

утром снился дорогой друг именинник
вчерашний привел в гости свою семью на-
стоящую а матушка опять оберегала меня
было тяжело и тревожно гости много ели
и не пьянели в чем же дело мы сходили еще
за догоном красным а они рыбу ели

00

РУКОВОДСТВО ПО ОПИСАНИЮ ПОЖАРА
РУКОВОДСТВО ПО ОПИСАНИЮ ПОЖАРА
в этом сне я переплыла реку

00

угольный город

сначала ужесточили рамки поступления
в аспирантуру туда метила моя подруга я
встречала ее на вокзале в платье мы кури-
ли при ребенке потом мчался лифт с хчкм на
одиннадцатом мы вышли он проломил себе
башку об каменный угол брызнула кровь но
он выжил я опоздала на экскурсию в шахту
не успела на поезд так побродила по плат-
форме видела огромные носы экскаваторов
размером с комнату угольные горы и уплы-
вающих вдаль шахтеров под ногами кишели
малинки-черви на фоне угольных селей и
тучи в небе на выходе ждали трое бывших
в одинаковых кроссах то что объединяло их
было больше каждого из них и музыка они
пели потом мы зашли в кафе сели я увидела
себя в зеркале и загадала это желание

11

вО СНЕ ДЫХАНЬЕ ВРЕМЕНИ ПОНЯТНО,
оНО БЕЖИТ ПО ТРЕЩИНАМ В СТЕНЕ,
рАЗБИТЫЙ КОЛОКОЛ ЗОВЁТ НЕВНЯТНО,
яВЛЯЕТСЯ ОТСНИВШЕЕСЯ МНЕ.
уДАР 16 из 19. Е.М..

На днях приснился сон (недосон/мета-письмо): какой-то дед рассказал бабуле, что у меня сохранились твои письма, они порешили украсть их и уничтожить. Так высветилась их драгоценность — теперь скрыть письмо невозможно — страницы светились, как детские секретки под землей за стеклом, везде — под подушкой, в шкафу бельевого, за домом. Перепрятывая, спасая, заучивала их наизусть — «письмо на диком рисунке», «на крафтовой бумаге», «какой хороший ночью вышел разговор...», фразы вздрагивали и оборачивались, склеиваясь в одно целое со мною письмо, и ничего у воров не вышло, письма не давались в руки, оживали и лепетали... Проснулась с капелькой крови на подушке (комар), поэтому и спрашиваю — как ты?

00

(Вчера) во сне разговаривала с человеком, который еще не умеет говорить

11

...Бог дает это гению во сне. А вам он во сне дает только сны. Гегель.

11

*Во сне человек один явился.
Рост его подобен небу,
Земле подобны его размеры...*

*Когда во вселенной решали судьбы...
Отрывки из строительной надписи
правителя Гудеи (цилиндр А)*

00

ВРАЛА БЕСПРОБУДНО

Гаражи, как заснеженные высоты Аргентины

00

СКАЧАЙ ЭТОТ СОН

00

На ночь загадала дождь, проснулась от зву капели и такое снилось, капкап ец: люди-халаты нападали на меня во время жизни-перформанса. Еще подумала — внешний!

00

не мы е свидетели сети

11

АвласавлалакавлАвласавла лакавлАвласавлалакавлАвласавлалакавл

00

ФОТОГРАФИРОВАЛА ВЕСЬ СОН

00

Недовольная Тамара Александровна под ногами раскидала гнилые пальмы на болоте

ТЦ БОЛОТО

00

крайнююю 28-ми мили-метровую ватную вТч солнечную снилось круглое концентрическое опасно е как пуля в разрезе полета-сердца просыпалась пополам но коша прилетела и жидкое олово закружилось

Во сне ко мне приходил голубой чекист...
В.К.

ШЛА ПО КРАЮ КРАПИВЫ

00

Поймала себя во сне за руку — обмеряю
запястье кистью другой руки обхватываю
с запасом просыпаюсь и проверяю так и есть
символы на руке вспоминаю во сне не чита-
ют и просыпаюсь я держу себя за руку — сон
меня видит или явь во сне?

00

приснилось предположение — влюблен-
ным снятся тупые сны

00

пришли на свадьбу, а марш забыли

00

САНТЕХНИК САНТЕХНИКУ ОСТАВЛЯЕТ
ПРИВЕТ ПОД РАКОВИНОЙ РАСПЛАКАЛАСЬ

00

гореть так гореть подумала я и прикрыла
собой девочку веганку на перформансе где
в жертву приносили обязательно женщин
обязательно зелёных гореть не сгорая я со-
рвала перформанс

00

ВИДЕ ЛА Д Е Т С К И Е Ф О Т О Г Р А Ф И И Ч Е Л О В
Е К А К О Т О Р О Г О Е Д В А З Н А Ю

11

*...снится машине — шоссе, магнитофону —
кассета. песня лнпк*

00

Господин Дурак кидался в меня навозом
лесом дровами но е-му у-же не может

00

...кружу по детской поликлинике в малень-
ких жмущих ботиках, моих, самых настоящих,
из детства, и все никак не могу ко врачу по-
пасть, решила их (ботики) оставить на помойке,
во дворе в коробке, а тут из нее выскакивают —
ковры, свитера, покрывала, радиоприемники,
зубы, маленькие мозги... Откуда ни возьмись
появились молочные мальчишки и сказали,
что все это просто так оставить нельзя, надо
писать дарственную — кому? Думаю, странно,
а как же зубы? Дарить зубы странно. Вдруг это
завалившийся зуб моей мамы или кого-ни-
будь еще нерожденного? Сомневаюсь и пере-
сматриваю вещи, вдруг, что оставить? Пока
этим занимаюсь, мальчишки становятся мужи-
ками и все прут, и, ничегошеньки мне не оста-
лось, только в руке надпись — «В дар Кккххх».
А ещё хотели, чтобы я починила ботики.

00

южно-русское средневековое похожее на
прошлое прабабки харьковский хоррер

00

онейрические новости президент объ-
явил день ухода с поста главы кошмарик ко-
торый забыла

*Сон — впереди пробуждения,
Явь — продолжение сна;
Жизнь быстротечнее смерти;
Под глубиной — глубина?
Р.У.Э. Сфинкс*

Руслан Комадей

СТЫДЫ



Вике Радисевой

*«а прав и не было никогда»
К. Ч.*

1.

я делаю только то, что не делал,
поэтому нахожусь вот тут
таким же тупым и таким
как знать

я думал здесь — рифма
но я предумал «нож»,
что начитался Чарыевой
— не ослеп

.....
.....

всё только хуже
всё больше я
нужны мне валенки
для подошв

2.

не тыкайте мне пожалуйста
но так хорошо — ура
куда ты так смотришь жалостно
новерное там пора

как будто спустившись смешаца
забыть истончённый свет
где даже мой стыд поместится
или нет

тогда я не знаю / сделаю
сложу слов опил, напьюс
оставь мне покою целого
я всё равно боюсь

3.

кто откровеннее меня
на ценном белом свете
конечно дети без огня
— и за спиною — дети

они стоят они не ждут
им стало скучно-скушно
эй дети я вон там / вон тут
ни ч-ё а потому что

всех сосчитаю и сдаюсь
кто перепрыгал пряжки
слова детей идут Зарусь
пропали без оглядки

а я-то где ?вон там без них
возьми меня возьмица
эй дети стойте, я — жених,
на них нельзя жениться

Е. В.

кто ты такая в дому ветвей
зачем тебе запечатан дом
я понял пьяного, м н е смешно
пора остаться, но стыд и нем

когда начнётся повтор о то м
и тусклые рифмы сойдут совсем
ты не погладишь меня затем
не только взглядом а насовсем

и неужели попал в люблю
ты смотришь памяти торный путь
но повторяясь он видим всем
не нужно смеха, чтоб сосчитать

смежи смежинки в дыму детей
кто хочешь будто в одно лицо
тот замирает, а ты не ждешь
ну вот и закончился беглый день

Владимир Киршин

Кто загрыз танкиста



1. Мефистон

Это ко мне на дачу привезли бедную хромую собачку, чтобы она отдохнула на природе, а то ей в городе плохо, а на даче ей будет хорошо. То есть ему: собака — кобель, лабрадор-ретривер. Кличка Гром. Такую кличку ему дали в приюте, только он на нее не откликается. Пока не увидит смысла, не отреагирует. А может, просто глуховат старик Гром.

Гром — странная кличка. Может — Грум? Старый Грум. Это теплее.

Сколько у пса было в жизни кличек, сколько было хозяев, никто не знает, а сам он молчит. Я спрашивал. Молчит, скрывает. Но он славно пожил, похоже на то. Породистый кобель с хорошим воспитанием, на передней правой ноге следы дорогостоящей хирургической операции — в локоть вшита платино-

вая пластинка. Доктор говорит — нержавейка, но я-то знаю — платина. Мутный персонаж этот Гром-Грум.

Если калека не ворует, у него стопудовая причина стать домашним любимцем: калек любят. Гром не ворует! И его все вокруг любят наперебой.

А он, тем более, вид имеет жалкий, характер скромный, а лучше сказать — никакой, без характера собака, без претензий вообще — какие там претензии? Спасибо, не убили, — читается в черных слезящихся, старых глазах. И все встречные поперечные с ходу раскрывают Грому свои объятия; кличут Ромой; жалеют.

Команды Гром знает и выполняет по мере сил. Бежать не может — ковыляет, больно смотреть, как он торопится, спешит, тудяга. Лаять не может — слабо кашляет со свистом

и гудком, и смотрит при этом в небеса, будто там его настоящее место, а не здесь. Тутошняя дислокация Грому безразлична: ему что на холодном ветру спать, что на солнце-пеке — все едино, дрыхнет, где рухнет, и не подвинется. Видеть это странно, я иду двигать пса вручную — тяжелый, собака, невероятно. Поразительно тяжелая туша! Настоящее имя ему — Хан Чугун.

И лапы у него чугунные, с огромными кривыми когтями. Стоит мимоходом приласкать песика, как он радостно садится на хвост и задирает вверх обе передние лапы — обнимашки, типа, ми-ми-ми, — но в следующую секунду, если на тебе нет железных штанов, а лучше — железного сарафана, все, что у тебя висит, будет когтями оборвано: бусы, груди, яйца — всё в клочки. *Така любовь*. Не всем нравится, но возражать неполиткорректно, да и бесполезно. Надо изворачиваться, чтобы уцелеть.

Что характерно, передние лапы у Грома, по понятной причине (в одном локте пластина!), задираются по-разному и двигаются хаотично, как у правильного боксера, — коварно финтят. Дать отпор такой любви невозможно, а сдаться чревато увечьем — нет, нет, только бежать!

Но я не бегаю, у меня никаких ми-ми-ми, не до того: дом на мне. И разные фантазии в том доме плодятся, они тоже требуют внимания. И вообще, мы тут два мужика, садись — поговорим.

— Рома, или как там тебя, — завожу я речь. — Я знаю: собаке положена порция ласки каждый день, иначе она сойдет с ума. Понимаю. Не возражаю.

Гром сидит напротив, смотрит на меня светло и улыбается одобрительно.

— Но как тебя погладить так, чтобы ты на голову не влез?

Гром поднимает уши:

— Да — как?

— А вот как — по уставу!

Я командую: «Лежать!»

Пес послушно растягивается на траве. Глядит с вопросом.

Я устраиваюсь в кресле поудобнее, закидываю ногу на ногу и большим пальцем

закинутой ноги чешу собаке за ухом. Взор Грома сонно тупеет, голова клонится.

Моя следующая реплика — команда «Хорошо!» — произносится с улыбкой, вставляя и с ударением на первом слоге: «Хааарашо». Что означает: собаке хорошо — это приказ.

И ей хорошо. Собака мерно качает головой, трется о хозяйскую ногу, нажимает сильнее, еще сильнее. Собака урчит от удовольствия. И, что важно, ее грубая ласка человека не травмирует, человеку тоже хорошо. Идиллия.

Вот одна из идиллических картин. Утром я выхожу из спальни и спускаюсь по лестнице, как Нерон: внизу мне рукоплещет толпа. Восторженную толпу представляет лабрадор, наскучавший за ночь и желающий в туалет. Вывалив язык, он скачет на трех ногах; передняя правая у него, видимо, от возбуждения, сама собой задирается вверх. Это контрактура, но выглядит как кульминация восторга. Гром цепенеет в нелепой позе, уморительно напоминающей пионерский салют.

— Будьте готовы! — поднимаю я руку в приветствии.

— Всегда готовы! — за весь античный Рим отвечает Гром.

И я выпускаю псину во двор.

Там солнце, там запахи и там кусты — каждый надо пометить.

Меня с миской корма Гром встречает опять салютом и разными собачьими трюками из своей прежней жизни, которые должны показывать уровень воспитания, достойного питания, а показывают, увы, только ногу, не пригодную ни для чего... Когда я выхожу со своим кормом — кофе, хлеб и творог, Гром сопровождает меня в замедленном темпе.

Дело в том, что я тоже хромой, иду медленно, чтобы не пролить кофе по пути к альпийской горке, — там я завтракаю. У меня что-то с коленным суставом. Не знаю что, но платины там нет, точно. И вот мы идем, два калеки, ковыляем, припадая оба на правую ногу, как два раненых гладиатора.

Гром любит время, когда я ем. Это время собачьей гармонии: охотничья собака

счастлива в погоне за дичью, собака-компаньон счастлива в ногах хозяина, когда тот ест. И лучше всего это видно, когда хозяин ест в саду, за маленьким столиком, один. Единство — от слова «еда». Единение — хозяин ест, собака уже сыта, она, не спеша, ищет место и находит его чуть впереди хозяина, чуть дальше его вытянутых ног, там она ложится во всей своей красоте и важности — откуда-то собаке известно, что она полноправная часть пейзажа, и даже, черт побери, лучшая его часть!

Собаке достаточно приоткрыть глаза, чтобы убедиться — хозяин смотрит, и ему нравится, еще немного, и позовет обниматься. Так думает Гром, который Грум.

Я хозяин временный, избытком жалости не страдаю, но уважаю собаку, которая не пристаёт, пока не позовут, и без команды не гавкает. Гром был как раз такой собакой. Был, а потом перестал быть. Когда это произошло и почему, я не понял. Попробую восстановить события по порядку.

На даче дел по горло всегда, и я всегда в движении. Хожу медленно (как говорит моя любящая жена — *вальжно*), но хожу много. Гром за мной не успевает — отстает, скулит, потом ложится, засыпает... И однажды бедолага скатился в Ров.

У меня на даче богатый рельеф — есть небольшой уклон к Реке, есть Вал и есть Ров. Все эти места полны чудес, я потом когда-нибудь расскажу каких, сейчас — слышу жалобный плач. Со стороны Рва. Я скачу туда, и что я вижу? На самом дне, где весной, в марте, бурлит поток, а ныне, в августе, сухое русло, растянулся на пузе мой Громик и уже охрип звать меня на помощь, только вздрагивает, и кашляет, и подвывает из-под кашля, слабо и безнадежно.

Я не пошел по ступеням, я кинулся напрямик, по склону, сломя голову, спасать трехногого друга!

Вот и он, верно, так же — кубарем катился по склону, ушибая голову, рая глаза, ломая старые кости, на дно пропасти, откуда нет возврата.

— Сейчас, сейчас... Ромочка, потерпи, дружок...

Бегло осмотрел — вроде, цел. Беда придала мне сил, я поднял кобеля на руки, но, шагнув, выронил тушу.

— Ну, ты чугун, Рома!

Соорудил из старой куртки спасательный куль. Обвязал веревкой, пыхтя, вытащил собаку из пропасти.

Гром лизнул мне руку.

— Ладно, ладно, — растроганно забормотал я. — Ну, нормально, все живы...

Когда он снова оказался на дне канавы, я не удивился.

И вот сейчас он там, на дне, валяется уже в третий раз, а я стою наверху и задумчиво перебираю в кармане гвозди. У меня по плану ремонт сарая.

Мы разговариваем:

— Ты не Гром, — говорю я. — Ты — Гроб. Свинская задница. Каналья. Живи там, в канаве, раз тебе нравится. Добывай корм себе сам. Там крысы, жирные кроты, черви. Сороки будут на тебя какать.

В ответ на каждое мое человеческое слово раздается стон прирученного и брошенного существа, живой души, твари божией.

И ведь не возразишь, действительно — тварь божия, живая душа. Приручили и бросили сто раз. Я представил себе череду бывших хозяев хромого кобеля — сто человек. Добрые-предобрые, вот они стоят шеренгой, глаза отводят, на часы смотрят, чатятся в Инстаграме: *собака-улыбака*. Им некогда заняться реальной улыбакой, их все меньше, и вот остается один — тот, который лечил собаке локоть, возил ее на консультации, на рентген, на операцию — одну, другую, третью, лечил осложнения... Почему-то мне кажется, что это — женщина. Грузила чугунины, носила на руках по лестницам. Что с ней случилось? Такие не сдают. Как же собака оказалась на улице? Хозяйка погибла?!

Следующим утром мы завтракаем, как обычно, гармонично, нераздельно-неслиянно, в духовном полете над кооперативом *Благодать* (между прочим, это настоящий топоним, официальное название еще круче — СНТ «Благодать-1». Читатель! Я тут вообще ничего не выдумываю, наоборот, сокращаю и смягчаю).

После плодотворного завтрака мне надо идти в сарай, а Громика, дабы он опять не упал нечаянно в свою любимую канаву, я отправляю на *самоизоляцию*. Поэтапно:

1. Ласкаю собаку, выделяю ей необходимое на день количество внимания. Мужественно принимаю на себя ее мышечную нагрузку, проще говоря — гоняю, чтобы устала.
2. Открываю входную дверь: «Гром, домой!» Терпеливо жду, пока калека разберется со своими лапами и перелезет через порог.
3. Объясняю задачу — охранять место, чужим не открывать, спички не зажигать. Вот подстилка, вот вода, спи, Грум, ты на заслуженном отдыхе.

Мягко, но плотно закрываю дверь, и... в ту же секунду начинается скулёрж.

Но я кремень, шагаю вальяжно с доской на плече заре навстречу, чтоб сказку сделать былью, и все такое. Лучшее средство от хандры — лопата. Лучшее средство от воспоминаний — топор.

В паузах трудового экстаза слышу слабое твяканье. Из избы, сквозь толщу бревен, доносится не скандальный лай, нет, — усталый плач. Без жалобы, без просьбы, без надежды, типа: опять бросили, я так и знал, ууу.

У собаководов правило: не поощрять истерик, чтобы не закреплять их.

А у меня старый больной пес! Которого воспитывать поздно, он, может, завтра ноги протянет. Или сегодня.

Я скачками в избу, проверяю — нет, все в норме: нос холодный, мокрый, подстилка сухая, вода есть.

— Сытый, гулянный, что орешь?

Улыбается. Не сегодня.

— Рома! Ты дома так же себя ведешь?

Ну, думаю, может, ему приспичило? Расстройство желудка? Ладно, выпустил. Наблюдаю. Да там и наблюдать нечего, Ромик даже для вида в кусты не сбегал, вышел и лег у крыльца, наглая морда.

— Ладно. Я спокоен. Лежи, где хочешь. Только тихо. А опасную зону мы блокируем.

Сэр Гром Грум лежал на крыльце, будто Акела на скале, и снисходительно наблюдал, как я, бросив все дела, огораживал досками канаву. Своими руками я рушил миф о Рве и

Вале, сколачивал наспех какую-то неэстетичнейшую херню.

И вот я покончил с этим гнусным делом и шагнул в сторону. И немедленно услышал... Свисток! Это мой конвойный Гром засвистел носом, регулируя мое движение на зоне.

Так. Спокойно. Здесь я хозяин. Поднялся на крыльцо, отворил дверь.

— Домой.

Указал на подстилку.

— Место.

Больше мы не разговаривали.

Но события развивались отнюдь не в тишине. Я пилил, колотил в сарае, чтобы не слышать собачьего лая. Шел проведать — нет ли серьезной причины? Лабрадорик скучает — для меня было несерьезной причиной. Я ошибался, все очень серьезно, когда лабрадорик скучает. И однажды я, сидя наверху за компом, услышал внизу необычный шум.

Для старика Грома даже лечь дело непростое. Он не ложится — он рушится на пол так, что на втором этаже слышен грохот костей. Подробно: сперва начинается клцанье когтей по кругу, потом тощий писк, грохот и тяжелый вздох с басовым призывом: лёг. И еще какая-нибудь банка звякает, задетая. Вероятно, отсюда и пошло это прозвище — Гром.

Сейчас грохот был продолжительнее, как будто в избе четыре Грома катали пятого. Я положил шлифмашину и пошел проведать.

— Шо за дела, Рома? Шо за шухер? — шучу.

Вижу — Гром лежит на подстилке, как утомленное солнце. В горнице больше ничего. Все предметы на местах.

В каждой избе случаются непонятные звуки, разные домовые барабашки чудят, меня не касается, главное, чтобы они электричество не коротнули и водопровод не порвали. У меня был случай: бультерьер Гарибальди Весельчак преследовал барабашку и из стены вырвал шланги стиральной машины. По крайней мере, он так объяснил разрушения.

Тут дело было проще и ужаснее. Вечером, когда пришло время кормления собак, я обнаружил, что контейнер с сухим собачьим кормом... пуст. Должно быть, вид у меня был дурацкий. Дело в том, что контейнер был по-

лон. Я хорошо помню: тут был корм. Вот он, контейнер, красивый, прозрачный, с крышкой. Его мне оставили хозяева Грома, чтобы я вот этим мерным стаканом набирал гранулы и сыпал их вот в эту миску. Другого такого контейнера на даче нет. Вот миска, вот стакан, вот контейнер — он прозрачный, можно смотреть сверху, сбоку и даже снизу... Где гранулы?!

Я посмотрел на Грома. Не мог же он сожрать все один? Да еще после кормления?

— Там было десять порций! Ты же умрешь!

Мне рассказывал ветеран: у них в роте один молодой дурак сожрал ночью кулек сухарей и запил водой, — его наутро так разбарабанило, что он в «скорую» не поместился, его, как мячик, по дороге катили. Ух, он орал! Пока голос не сорвал на фиг.

Теперь понятно, отчего у нашего Грума голос сиплый. Сорвал голос, Грэм Грин Хан Чугунский! Много корма жрал!

Я пощупал пёсье пузо — вроде, не вздуто. Проверил поилку — вода в норме. Немного успокоился, но у меня осталось два вопроса.

— Рома, или как там тебя. Первый вопрос: ты куда спрятал корм? Я не верю, что ты его съел, как сраный Бишка. Ты же благородный пес, с хорошими манерами, у тебя порода, ну?

Напрасно я ждал ответа. Лабрадор, безымянный резидент неизвестной разведки, молчал как в танке.

— Ладно. Второй вопрос: как ты открыл крышку контейнера? Ведь тут застёжка специальная, против четвероногих воришек, тут нужен большой палец, чтобы открыть. И еще не каждый человек догадается. Веришь ли, я, сам шифровальщик, не мог сразу. А ты — опа! Молодец! Покажи, как ты это делаешь? Ну, как резидент резиденту — покажи! А я тебе свиное ухо дам. Смотри, сушеное свиное ухо, ммм, ах, солёненькое...

Ничего он мне не сказал, только смеялся в глаза.

Я начал сомневаться, кто в доме хозяин.

Я захотел к людям.

Надвигалась ночь.

Надеясь выспаться в тишине и безопасном одиночестве, я увел Грома во флигель. Постелил ему там, на веранде, потрепал

за ухом, рассказал сказку на ночь. Чесал ему пузо, пока он не уснул. После этого вышел на цыпочках и плотно затворил за собой дверь.

Поговорил с хозяевами по телефону. Рассказал о нашей жизни, опустил некоторые подробности, чтобы не волновать. Они же на карантине, им и так тревожно.

Перед сном спустился провести арестованного, то есть изолированного лабрадора, который во флигеле. Шагнул во двор и... чуть не заорал! Во дворе лежит собака!

— Рома, черт!

Понимаете, я один, кругом темно и пусто, и со мной происходят необъяснимые вещи. Калека Рома — не симулянт, он калека настоящий — вот у него одна лапа висит, но он каким-то непостижимым образом открывает крышки, отворяет двери и выходит на свободу! Он преследует меня!

Я зажег везде свет, включил радио. Унял колотящееся сердце, прибегнув к юмору: дескать, да, матерый диверсант. Он прошел застенки, вон что враги ему с ногой-то сделали, пытали гады инструментами. А платину ему вшили уже на Родине, в награду за безупречную службу.

Отпустило. Я погладил зверя по костистой голове. Молвил так:

— Отступать мне нельзя, сам понимаешь. Но и тебя я не обижу. У меня во флигеле, внутри, сложена банька — добрый сруб с крепкой дверью и хорошим замком, я туда прячу электроинструменты на зиму, чтобы не украли. Там хорошо: вентиляция, окошко, диван, — я там жил, когда строил новый дом. Там тебе понравится.

Постелил собаке там. Поставил миску с водой, повесил обогреватель. Объяснил, что это не тюрьма, а так надо — шлифмашину охранять, почетное поручение.

Запираю собаку на ключ и чувствую себя нехорошо.

Ничего не слышно, что там, в глубине флигеля, происходит.

Снится мне убийство. То ли я убиваю фашиста, то ли он меня. Каждый час отворяю окно и прислушиваюсь — плачет? Да, плачет. Надо терпеть.

Гугл поясняет: «Лабрадор — драгоценный камень. Лабрадоры активизируют метаболизм, способствуют выведению камней из почек». Чо к чему? Ни фига не соображаю.

«...Впервые Мефистофель предстает перед Фаустом в образе собаки. Пудель подходит к ученому во время народного праздника, и герой забирает животное домой». Ну, какой из меня Фауст? Так, Фаустоша. А Рома — Мефистон, драгоценный камень моей левой почки. Потому что —

«...После победы над проклятием Красной Жажды в нем изменилось многое. От общительного и компанейского характера — к молчаливому и нелюдимому. От силы воли астартес — к магической мощи одного из падших ангелов. Вместе с перерождением он получил устрашающее звание — Владыка Смерти Мефистон, и должность — Старший Библиарий Кровавых Ангелов».

Часы в ночи расплываются буквально, — батины, Царствие ему небесное, наручные, висят на гвоздике размытым пятном, стрелки исчезли, остались их тени.

Терпел так до пяти утра; несчастный пес все плакал и плакал. В пять утра несчастный хозяин поплелся сдаваться.

Открываю. Внутри баньки пахнет зверинцем — то есть насилием и тоской. Пол усыпан щепками, содранными с двери и косяка; будто молодого медведя запирали. Где же этот молодой, мощный медведь? А нету — старенький, слабенький Рома подползает, дрожит и лижет мне руки. Мы плачем оба.

Затемнение.

Утром я проснулся на собачьей подстилке. На моем диване спал хромой кобель Гром.

И тут звонок друга:

— Ты на даче? Щас приеду.

Пытаюсь соображать. Моего друга зовут Петр, у него дача на той стороне реки. Такая метафора, песенная — «Я ждала и верила, сердцу вопреки, Мы с тобой два берега у одной реки». Она совпадает с географией — дача Петра за Чусовским мостом; и еще она отражает разницу в наших с ним эстетических позициях: я люблю дерево, Петр камень. Так что кремень — это не я, вот Петр Денго-

вич — это кремень. Он продюсер, живет в каменных чертогах. Часто ездит мимо, а теперь вот решил завернуть ко мне.

Иду открывать ворота. Мне худо, от спанья на полу болят бока, колено. Ковыляю, подпрыгивая и припадая, в точности — хромым кобелем.

Петр хлопнул дверцей и скользнул оком по моей согбенной фигуре.

— Ты чо? Спишь?

Я ему в тон:

— Привез?

— Что?

— Коронавирус. Умереть хочу.

— Держи, — подает руку друг. — Всегда пожалуйста.

Мы обменялись рукопожатием.

Из машины выпрыгнула Каринка, жена Петра.

— О! — я сразу ожил. — Кариночка! Сюрприз! Петя, забери свой вирус, я уже не хочу умирать!

Мы с Каринкой обнялись.

— Какие большие деревья! — щебетала очаровательная гостя. — А у нас еще маленькие. А это кто? Он не кусается?

На дорожке показался маленький, худенький, хроменький кобелек, чистенький и бесконечно несчастный — готовый к обнимашкам. Он направлялся, естественно, не к циничному продюсеру, а к хрупкой, чувствительной женщине. Он ковылял на трех ногах, бессильно мотая головой.

Путь его долог, у меня есть время предупредить Карину.

— Он не кусается, но...

— Глотает целиком? — Петр криво улыбнулся.

Продюсер документального кино, он снимает калек, фриков и просто странных личностей, а потом показывает авторские фильмы европейцам; берет премии на фестивалях — тем и промышляет.

— Это мой пудель, — говорю я обреченно. — Грэм Грум фон Чугуновски. Владыка Смерти Мефистон. Карина, берегись!

Поздно. Надо было покороче. Грум уже облапил хрупкую и полез на нее, как электрик на столб, вонзая в нежную плоть свои кривые когти.

Спешу на помощь. Поразительно — Каринка, золотая женщина, терпит чугунную ласку с улыбкой. Поглаживает влезшего и еще утешает:

— Нет, нет. Ты не пудель. И не владыка, нет.

Я оттаскиваю кобеля. Петр ругается:

— Да пускай наслаждаются! Поехали уже! Посади их вместе!

Было непросто сосредоточиться, но я сообразил — Петр имел в виду наш давний уговор посетить его дачу, ту, что на *другом берегу*. Это было кстати — сменить обстановку. Я забрал остаток корма в мешке, постелил Грому в багажнике, и мы вчетвером поехали на *другой берег*.

2. Танкист

Другой берег. Тут все по-другому — то есть по-людски: коттедж с климат-контролем, французские окна в пол, посудомоечная машина в кухне, отделка по евростандарту.

У меня-то ведь все иначе — то есть в точности наоборот. У меня изба из бревен, окошки в деревянных рамах, печка-каменка с баком на трубе. Вся внутренняя отделка вручную, криво-косо, но с выдумкой и где-то даже с юмором. У меня принципиально деревянный дом и самодельная мебель, никакого пластика, везде древесина — такое было гордое решение городского сноба: назад, к природе!

— Карина, — спрашиваю. — Ты любишь коряги?

— Очень, — отвечает Карина.

А ее муж сзади:

— А я нет. Ненавижу коряги.

У них на даче фужеры, высокие, узкие фужеры и кава в винном погребе. У них на даче хайтек, даже камин похож на ракету. А в гостиной комнате пальцем нажимаешь на стенку — с музыкальным звоном раскладывается двуспальная кровать.

— Яндекс!

Петр ходит по гостиной в галошах с резиновыми шпорами и кричит раздраженно:

— Яндекс!

Я не понимаю, что происходит, но мне все нравится. У меня в фужере качаются цепочки

пузырьков — кава меняет оптику: жизнь превращается в кино, кино — в мультимедиа...

Вот Грума ничем не удивить, он в багажнике доехал спокойно и теперь безразлично растянулся на своей подстилке в чужой гостиной; рядом миска с водой.

— А вон там, — Петр показывает мне фужером в окно. — Иди смотри. Видишь площадку? На ней будет стоять фестиваль шатер, в нем будет кинопроекторная аппаратура, кресла — просмотрный зал. А вон на той площадке — видишь сваи? — там будет кино съемочный павильон и студия онлайн-телевидения. И между ними будет стеклянная галерея, с фикусами.

— А где будет вытрезвитель? — интересуюсь. Я смотрю на пейзаж сквозь фужер.

— В реке, — продюсер находчив. — Пьяницы будем топить в реке.

— Каму сюда прокопаем, — киваю. — Но надо хоть какой-нибудь реабилитационный кабинет: киношникам после съемок здоровьеправлять — капельница, вертикализатор.

— Яндекс! — не дослушав, снова кричит Петр. — Включи Баха!

Жена продюсера показывает мне свои игрушки. Карина любит малую форму, шаманит над ней с помощью красок и лаков, мечтает перейти к большой форме — к сундуку, вот он стоит под лестницей, большой и даже на вид тяжелый.

И вот мы такие, с бокалами кавы, аки гламуристки на вернисаже, ходим от объекта к объекту, обсуждаем их фактуру и цвет, а также роль светильников в искусстве. А Петр все зовет кого-то:

— Яндекс!

Я ржу.

— Это Петя зовет Алису, — поясняет мне заботливо Каринка. — Знаешь Алису?

— Ну, конечно, кто же не знает Алису. Даже Гром ее знает. Гром, подтверди. Гром!

— Ненавижу имя Алиса, — ворчит Петр. — Я ее в Яндекс переименовал.

— Оригинально.

— Что-то с интернетом сегодня. Яндекс! Включи Баха!

Внезапно в комнате раздается приятный женский голос:

— *А волшебное слово? Скажите волшебное слово!*

— О! — радуется отклику фюрер ментального дока и произносит непривычное слово дважды: — Пожалуйста. Включи, пожалуйста.

— *Пожалуйста. Включаю токкату Баха*, — докладывает голос.

Звучит токката Баха.

Холмится паста карбонара. Искрится кава. Беседа пестрится, теплая и бессмысленная, как пчворк.

Богема сидит красиво. Я гляжу на богему со стороны. Мысленно вынимаю свой третий глаз, помещаю его в верхний угол помещения — так, чтобы в кадр попадало застекленные стены и пейзаж, и любуюсь фигурами людей. Они красивы, персонажи моего кино, они красивы в позе, в жесте, в слове... Тут нет надутого продюсера, а есть молодой режиссер Петя Денежкин, он талант-самородок, самолюбив и горяч. Подле него модельерша от кутюр, владелица брэнда «Карина», прекрасная незнакомка — очи в пол-лица. Напротив сидит сорокалетний не то писатель, не то сценарист Калачов, он худ и лохмат, глядит тревожно.

— Девушка, — обращается к «Карине» Калачов. — У вас есть третий глаз?

— Вот еще! — смеется модельерша. — У меня два отнимают кучу времени!

— Петя. У тебя есть третий глаз?

— У меня их восемь, — отвечает Петя. — Как у паука. А тебе зачем?

Лапшу компания победила, когда стемнел пейзаж и сами собой загорелись арабские купола над столом. Орган умолк.

— Тишина, — вздыхает Карина. — Я так устала от городского шума.

— Да, да, — кивает Петя Денежкин. — Ненавижу город.

Атмосферу волшебства нарушает стук когтей по ламинату. Там, в тени, дрыхнет старый пёс, он опять лег мимо подстилки, его задние лапы дергаются во сне и стучат.

Калачов встает.

— Не надо, не буди! — просительно шепчет Карина.

— Конечно, пусть спит, — пожимает плечами Петя.

Калачов любит питомцем: собачий нос уткнулся в передние лапы и сопит совсем по-детски — расцеловал бы. Калачов снимает тапки и надевает Груму на задние лапы. Теперь они подергиваются внутри тапок, бесшумно.

— А давайте рассказывать страшные истории.

— А давайте.

— Я знаю такую историю, — начала Карина. — Одну женщину похоронили вместе сотовым телефоном. Ей в гроб положили любимый телефон. А похоронили-то — ошибочно! Она очнулась. В гробу. Под землей. И телефон не включается, он просто перевернут, она жмет не туда! Жмет, жмет...

— Ужас, ужас.

— Да ну на фиг! — перебил Деньгович. — Карина. Вот страшная история, ты ее знаешь, молчи. Жил-был мальчик, и были у него папа с мамой. Вот. Началась война, и папу забрали на фронт. А через неделю по деревне прошла маршем колонна немецких танков. Танки шли с открытыми люками, из них торчали танкисты, они шли с большой скоростью. А на дороге играли дети, и мальчик с ними. Эти дети — деревенские, они никогда не видели вообще никаких машин! Они остолебели. И бросились врассыпную уже в последний момент. Но не все. Маленькая девочка, такая, знаешь, с пальцем во рту, она осталась стоять. К ней бежала мать, но она не успела. Танк не просто сбил девочку, он проехал по ней гусеницей! И следующий танк — так же, и вся колонна прикатала. Мокрое место. Это видел мальчик, он седой стал. Жив до сих пор, мне эту историю рассказал на камеру.

— Это правда, это было, — сокрушенно кивала Карина. — Я видела синхрон, Петя показывал.

— Вот как это?! — Петя возмущенно развел руки. — Я вообще не понимаю: у немцев такая культура — Бах, Вагнер... И такое зверство!

— Да, страшная история, — понурился Калачов. — Слушай, а почему они заранее не разбежались? Ну, дети?

— Я только что сказал. Ты спишь что ли? Деревенские! Они никогда не видели машин!

— Ну, и смотрели бы с обочины.

— Ты что? Детей обвиняешь?!

— Нет, конечно. Но я пытаюсь представить — вот едут танки, грохот за километр слышно. Дети — деревенские, любые — побросают игры и побегут смотреть. Так?

— Ну.

— А как увидят, побегут прятаться! Танки еще далеко, в конце улицы, но уже видно, какие они огромные и страшные. Пыль! Дым! Рев моторов нарастает! Враги! Все уже спрятались, какие игры?! Смотрят в щель забора...

— Ну и что?!

— Дорога была пуста.

Деньгович побагровел. Потом сказал: «Блять» — и полез душить сценариста. Зазвела посуда.

— Мальчики, мальчики! — закричала Каринка. — Цурюк! Ахтунг!

— Ладно, — отпустил гостя Петя. — Ты у меня дома. Живи пока.

— Понимаешь... Как тебя? Калачов! — быстро заговорила Карина. — Дело даже не в ребенке, а в герое фильма.

— Вот! — крикнул Деньгович. — Послушай ее. Давай, Каринка, объясни этому мудаку.

— Герой рассказывает о своем шоке. Это не протокол, это его детское впечатление от смерти, от танка, от войны. Это не протокол, здесь точность не важна.

— Да. Здесь важна не точность. Ты просто не видел, как он это рассказывает, — твердил Денежкин, хватая то бутылку, то пульт кондиционера, бросая и хватая снова. — Где синхрон? Я тебе покажу синхрон. Алиса! Яндекс! Все ко мне!

Калачов мотал кудлатой головой. Повторял:

— Ты в плену. Ты очарован. Ты на стороне героя.

— А где мне быть?! — возвысил голос Петр. — На стороне фашистов?!

— Нет. Ни на чьей, — отвечал Калачов. — Сидеть на горе и наблюдать. И показывать обе правды — тогда получится художественное произведение, а иначе — агитка.

— Херню какую-то несешь, — Денежкин встал. — Я спать.

— Ну откуда Пете взять правду фашистов? И зачем? — недоумевала Каринка, провожая тревожным взглядом мужа. — Вот он заснял рассказ очевидца, он должен его показать людям. Вот я зритель, и мне не надо фашистскую правду.

— Давай отравим Деньговича, — внезапно предложил гость.

— Э... — опешила женщина. — У тебя есть яд?

— У меня есть третий глаз, — уклончиво ответил Калачов. — У тебя их два, а у нашего режиссера — только один. Потому что он — диктатор. Вернее, у кого один глаз — тот диктатор.

— Так, с глазами разобрались.

— Нет, — не согласился Калачов. — Ты же помнишь советские фильмы... Ах, нет, ты тогда еще не родилась.

— Да господь с тобой! Я помню советские фильмы, в кинотеатре смотрела, билет десять копеек стоил!

— Верю. Вот тебе верю! А диктатору нет. Потому что от диктатора одна фальшь на экране, там дети разговаривают придуманными словами. И делают то, что им диктуют, а не то, что им свойственно.

— Тут я согласна, да, но эту историю не Петя сочинил...

— А кто?

— Ее рассказал на камеру мужчина, очевидец, старый, но в уме, и самое главное — владеет словом, умеет рассказать.

— Вот именно, умеет рассказать.

— Ты намекаешь, что он все наврал что ли?!

— Ну, не все. И не наврал, а так — скомпоновал из того, что сам видел, что другие рассказывали... Смонтировал. Это нормально. Ненормально, когда режиссер довольствуется фейком, а не проникает. Не исследует характер, а транслирует свое предубеждение. Получается еще один плоский персонаж, обвиняющий нацизм. Агитка.

— Она не плоский персонаж!

С этими словами в гостиную вошел Петр.

— Я все слышал, — со стуком подвинул стул. — Ты, писатель, трындишь о том, чего не видел. Видел бы — не говорил. Он не плоский персонаж, его речь — убедительное свидетельство, еще одно, последнее сказание.

Их надо записывать, их надо публиковать! А про его характер достаточно говорят факты биографии. Факты! Документы! В остальном ты прав, конечно: фейки нам не нужны. У нас кава осталась?

Снова зашипела в бокалах кава.

— Ну, давай, Калачов, твоя очередь. Расскажи страшную историю, — Деньгович пересел с бокалом в массажное кресло, развалился. — Давай, писатель, покажи мастер-класс. Твоя очередь, не вилай.

— О-хо-хо... — Писателя как-то сразу одолела зевота. Возведя очи к потолку, он закричал, дурачась: — Яндекс! Расскажи страшную историю!

— *А волшебное слово?* — сразу, будто ждал, откликнулся голос. Почему-то мужской. Но какая разница?

— Пожалуйста! — охотно произнес Калачов волшебное слово. Писатель любил волшебные слова. — Пожалуйста, Яндекс, расскажи нам страшную историю.

— *Жил-был танкист*, — начал Яндекс медленным голосом.

Все в комнате переглянулись.

— *Он был особенный: он жил в танке.*

— О — как! Яндекс сказки сочиняет!

— До чего дошел прогресс.

— Тише, тише, дайте послушать.

— *И вся его страна была особенная, и вождь особенный, и культура особенная, и вера самая правильная.*

Поэтому, когда вождь разрешил нести культуру,

все танкисты понесли культуру:

кто на Север, кто на Юг, кто на Запад, —

а наш танкист на своем танке помчался на Восток —

расчистить его от мусора и вспахать, чтобы засеять культурой.

— Ну, понятно. Это он слышал, что мы тут говорили.

— Это он нам фашистскую тайну... То есть военную правду, то есть... Как ты там сказал?

— Писатели больше не нужны!

— *Много было мусора. Много работы у танкиста. Но однажды*

танк намотал телеграфные провода себе на оси, провалился в выгребную яму и загдох.

Партизаны вытащили танкиста из танка, и пришел к нему страшный Карачун.

И сказал Карачун больше не танкисту: Эй, ты больше не танкист!

Посмотри, что ты наделал!

Тот огляделся — а он уже не в танке. Он как они. Только хуже.

Дерьмо на лопате, и больше ничего.

И так ему стало херово, просто — ыыы!..

Можно, я сам себя загрызу? — спрашивает.

И ведь загрыз в себе танкиста. Загрыз на смерть и навсегда.

Но человеком Загрыз не стал, а стал пока что собакой —

белым ласковым псом, ничего общего с танкистом.

3. Батя

Все поежились и невольно посмотрели в сторону лабрадора.

Но хромого кобеля на месте не было. Не было и тапок.

— Петя, — пискнула Каринка. — Я боюсь.

— Он сейчас насрёт где-нибудь, — озабочился Деньгович. — Ты бы вывел его, что ли.

Я попытался встать, но нога отказала, и я бухнулся обратно. Зашипел от боли:

— Яндекссс... Найди мою собаку. Пожалуйста, ста!

— Я здесь, сынок. Ничего. Я в порядке, — заговорил Яндекс третьим голосом, и у меня сердце оборвалось: то был голос моего отца. Ну, или очень похож.

Двое напротив разглядывали меня с любопытством. Я пытался руками вернуть себе лицо. По частям собирал в пространстве: нос, щеки... Не уверен, что прилепил их куда следует. Отца я похоронил три месяца назад.

Яндекс молчал. То ли с интернетом что-то опять, то ли с отцом...

Я выбрался из-за стола и похромал искать отца. Понятно, что его нигде нет, но это не значит, что его не надо искать.

Петя, он в курсе, устремился мне на помощь. Каринка, не желая оставаться одна, поспешила за мужем.

Мы обошли весь первый этаж. Нашли один тапок (мой, который я надел Груму, чтобы не скребся) — его мы нашли в застеленной прихожей. Точнее сказать, не нашли, а наткнулись на брошенный посередь пути тапок. Одинокий тапок, бессмысленный, неуместный, как труп, валялся на полу, и мы трое столпились над ним, озадаченные.

Когда-то давно я бежал на работу и вот так же наткнулся на труп. Одинокий, бессмысленный и неуместный, как чудовищных размеров тапок, валялся у меня на пути труп. На обычной асфальтовой дорожке с обыкновенными мокрыми пятнами от ночного дождя — такой необычный предмет: труп мужчины. Я огляделся растерянно. В дверях ближнего подъезда стояла на страже соседка в халате. «Я уже вызвала милицию», — деловито сообщила она. И я побежал дальше одним боком, а другой бок остался там, над неизвестным. Я не о протокольных вопросах, что там произошло. Я о человеке, который жил-был и вдруг куда-то делся. Куда — неизвестно. Остались — останки. Загадка, которую следует поскорее закопать, ибо разгадать ее невозможно.

Мои друзья, Каринка и Петр, припали носами к дверному стеклу, пытаюсь высмотреть в темноте белую собаку. Ни тот, ни другой не спешили выйти наружу. Я покрутил дверную ручку — заперто.

За спиной шептались: «Карина, где ключи? — У тебя, конечно. — С какой стати? — Петя! Ты же открывал дом...» — бла, бла, бла.

В голове шуршало: «Так, спокойно. Если отец вышел на двор, зачем ему запирать дверь? Значит, он не выходил. Он здесь».

Вслух я произнес:

— Если кобель ушел, то за него можно не беспокоиться — лабрадор, умеющий запирать и отпирать двери, сможет позаботиться о себе сам.

— Может, он обиделся? — не унималась Карина. — Всех угощали, а его нет.

— Да. Вдруг он подожжет дом? — скорчил рожу Петя.

Каринка ахнула, занервничала:

— Нет, конечно! Конечно, нет! Но как нам выйти?!

— Вдруг он нас всех изнасилует?! — Петра понесло. — Он же танкист! Танкисты бывшими не бывают.

— Петр!

— Ладно, хватит об этом. Завтра нас спасут, — трезво решил Петя и направился к холодильнику.

...Когда я вышел из душа, мои друзья уже спали, по крайней мере, нижний этаж был пуст. Для меня было постелено на диване. Собачья подстилка пустовала. Отец не вернулся.

Это меня устроило. С отцами ведь так — с ними лучше общаться по интернету.

Включаю Петин медицентр. Делаю по-тише.

Медленно ползет индикатор загрузки, интернет здесь плохо тянет даже ночью.

Загорается значок «Сеть» и тут же, без моего вызова, звучит собачий плач — тот самый, который вынимал мне душу в Благодати. Вздвогнув, я припадаю к дырочке микрофона и шепчу:

— Папа!

Плач едва слышен.

Я делаю погромче, но не делается, и я понимаю, что звук не из динамиков, верчу головой, иду на звук, в прихожей вижу тапок, ага — знак! В свете луны кружусь, как ищейка, носом к полу, вижу — лестница вниз, там Петин винный погреб, звук оттуда. Иду туда, на нижней площадке наступаю на что-то — ага, ага: второй тапок — второй знак. Надеваю. Стою.

Мне зябко и страшно. Я стою на пороге неизвестного мне помещения. Впереди абсолютная темнота и вполне человеческий скулёж, рёберный плач, что сродни икоте. Там кто-то есть, а кто и в каком виде — непонятно.

Порог чуть виден. Я сажусь на порог спиной к косяку.

Слева угадываются тени ступеней, ведущих навверх, к людям.

Справа... Справа не угадывается ничего. Ничего абсолютно. Даже звуки прекратились, ни шороха, ни вздоха. Мнится колодезная пустота и — падение!.. В испуге оборачиваюсь влево, где была лестница, — нахожу ее немного не там, но она есть, и я унимаю головокружение.

Три месяца назад я простился с отцом. Он уходил долго. Медленно погружался во тьму и одиночество. Потом на короткое время возвращался, будто с того света, и радовался этому свету и мне. Мы гуляли, батя плохо ходил, свою палку он называл — «мой конь». Я держал дверь и терпеливо пережидал, пока он со своим «конем» переберется через порог.

С каждым возвращением с того света он делался все покладистей и мягче. Он не ревновал жизнь к нам, остающимся. Не претендовал на наше внимание и вообще ни на что не претендовал. Это умиляло близких, а меня даже немного настораживало: он нас будто бы жалел. Будто бы *там* ему было хорошо.

Что *там* может быть хорошего?!

Я покосился на тьму. Я бы ей не доверял.

Говорят, большая часть материи невидима и за что-то зла на нас. В темноте нам видится угроза.

А отец, похоже, подружился с темнотой. Перенастроил зрение и открыл во тьме новую красоту. И все его страхи рассеялись, и он стал другим, причем при жизни — я это видел.

Но почему он не сообщил мне о своем открытии?!

И вот я сижу на пороге, спиной к косяку. Слева угадываются серые ступени. Справа чернота, в ней не угадывается ничего. Но все самое важное — там. Сомнений нет, надо только дожидаться сигнала оттуда. Надо как-то его вызвать — мантрой? Криком? Мольбой? Надо вслушаться. Он придет, сверху, снизу ли, а может, изнутри как-то, но он придет!

Сигнал, ты скоро? Я здесь!

Яркий свет ударил меня по глазам. Я ослеп.

Слева я услышал шаги, кто-то спускался по лестнице. *Шаги Командора*. Я поспешно заморгал, завертел головой. Зрение вернулось, и я нашел себя сидящим на пороге небольшого помещения, одна стена которого напомнила мне — мелькнула такая картинка — борт средневекового галеона: его пушечные порты распахнуты, пушки — бутылки наведены и заряжены сумасшедшими бомбардирами по самый дульный срез. Такой красивый винный стеллаж, винотека.

На полу винного погреба кучей тряпья лежала собака. Она лежала на боку, протянув ноги, и не подавала признаков жизни.

На лестнице показались последовательно: галоши с резиновыми шпорами, затем пижама, а после и голова хозяина дачи, командора потешного галеона.

— Ааа, вот вы где, — голосом Карабаса проговорил Деньгович, довольно жмурясь. — Я так и знал. Все посиделки кончаются здесь.

Старый лабрадор, равнодушно раскинувшийся на полу, лег на живот, потянулся и широко зевнул. Отлегло: живой!

— Смотри, какие зубы! — восхитился Петр и обратился к лабрадору: — Это ты загрыз танкиста? Молодец.

Петя перешагнул кобеля и направился к винотеке, весело крича:

— Шоу продолжается! Яндекс! Включи Баха!

Снова шаги, быстрые, легкие. В погреб торопливо спускается Карина, она в роскошном халате Шахерезады, просторные рукава развеваются, мерцают звезды. Но выражение лица не соответствует наряду: женщина в шоке.

Глядя на меня широко раскрытыми глазами, Карина произносит, заикаясь от ужаса:

— В-Володя... Там... Тебя папа спрашивает. Будешь говорить?

Денис Колчин

Беспилотник



Подобно Шамилю в Калуге,
не тороплюсь.
Окраина апрельской вьюгой
зовёт кусь-кусь.

Не отзываюсь, перевёртыш,
сизу, пишу,
чаи гоняю вдоль аорты,
по рубежу

полуденной квартирной тени
и высоты
слоняюсь, недобитый гений.
Райцентр Ахты,

спецназ, дербентское подполье...
Полным-полно
историй у меня. Приволье —
смотреть в окно,

отвлёкшись от клавиатуры
на снегопад
апрельский. Средь «макулатуры»
обычный ад

перерабатываю в слово.
Ещё чайку —
и слово ко всему готово,
как по звонку.

Сижу на кортах, зырю в темноту.
Там, за холмом, съедая немоту,
степь говорит со мною по-казахски.
Мол, почему не к ней, а на Кавказ?

Ведь у неё восстание как раз,
переизбыток смертоносной ласки.
Претензия хорошая. Ответ
над Каспием висит в плену тенет-

ветров и адресату неизвестен.
Да я и сам забыл, о чём хотел
и что сказал. Такой вот беспредел.
Граница — полыханье над помещьем:

то — ничего, а то — во всей красе.
Какие тут вопросы о стезе
ко мне, простому жителю заюжья?
Лишь камни в сердце не дают уснуть,

зудят и отправляют в дальний путь —
туда, туда, где минареты-копья,
растущие сквозь горные уголья.

Беспилотник, что ты вьёшься
над моею головой?
Может, просто разобьёшься?
Может, полетишь домой?

Ты лети отсюда, подлый.
За горою упади,
каменистой речки подле,
подле пламенной гряды,

где лежат тела и тени
испаряются, орёл
рвёт воздушные ступени,
пьёт небесный корвалол.

Никуда теперь не деться
от бинтов и костылей.
Детство, где ты? Где ты, детство?
Под землёй, в кругу друзей.

Как в Тифлисе утром ветерок.
В церкви по соседству Богоматерь-
персиянка из журнала Vogue.
Белая и розовая скатерть —

стены церкви, женское лицо.
Грибоедов, если б знал, одобрил,
попивая красное винцо,
представитель питерского лобби.

Жаль, не дозвониться до него.
Двести лет уже не отвечает.
Может, выжил чудом и в село
удалился, воин иван-чая...

Зелена куринская вода,
мёртвая, кислотная, живая.
Искупнёшься, выйдешь на раз-два
тамадой, заколотым в трамвае.

Здесь везде персидская резьба
проступает: от аэропорта
до литературного раба.
Вьётся, вьётся, типа ворожба,
типа разветвлённая аорта,
вольно-подневольная борьба.

Принявши позу мертвеца
в гостинице под артобстрелом,
лежишь и думаешь: «Маца
и водка — вот что в мире целом

способно мне сейчас помочь».
Встаёшь, кряхтишь, идёшь на крышу.
На крыше сказочная ночь.
Глядят созвездия и мыши

на идиота, на войну
приехавшего добровольно.
Перетирают: «Ну и ну.
Ему, наверное, не больно».

И ты такой сопишь, молчишь
под сенью светомаскировки,
забывший в номере кроссовки
состарившийся Кибальчиш.

Написал жене в Магнитогорск
«Как дела?», чайку попил, за книжку
усадил себя, забив на стрижку,
потому что память — старый воск,

норовит рассыпаться, сойти
кожею змеиною, загаром.
На войну поездки «нелегалом»,
страшные истории — в чести

всё, что было, нужно записать.
По местам булгаковско-толстовским
в голубой засаленной толстовке,
джинсах выцветших любил гулять,

в княжестве зачисток и смертей,
погружаясь в царство паранойи.
То ли дети, то ли внуки Ноевы
резали друг друга. Новостей

было завались... Теперь, mein herr,
цепенею над клавиатурой.
Сразу видно, жизнь взяла натурой —
сердцем и душою, например.

Вера Некрасова

Чилийский дневник

(три фрагмента)



Сто лет одиночества

Если пересечь Анды, сразу начинается Аргентина. И вот на границе с Чили, по ту сторону вечных Анд, в маленькой аргентинской Мендосе, мне повстречались необыкновенной внешности женщины племени мапуче. Я не могла наглядеться, так самобытны были их лица.

Это был настоящий подарок после мегаполиса, где люди почти не отличаются друг от друга. Пока я смотрела на них, мне стало грустно. Когда в следующий раз увижу таких? Только на черно-белых фотографиях прошлого века!

О, какие это были лица! Это были скулы заклинательниц дождей, повелительниц ветров. Это была горячая гордая кровь. Мужчины мапуче вырезали и съедали сердце врага, которого уважали, чтобы его храбрость перешла к ним, но людоедами не были. А сейчас кровь — как вода, ее столько разбавляли.

Всего две жизни назад этот взгляд способен был разжечь костер. Сейчас глаза эти пусты.

Провожая их взглядом, куда же они направляются? Идут в «Макдональдс».

Невыразимо грустно смотреть на этих Медей, оставленных своими богами.



Пьер Паоло Пазолини в своем фильме «Медея» характеризует ее как женщину, попавшую из античного мира в мир новый, не признающий ее ценности. Но какая разница, признает мир ее ценность или нет, ведь ценность ее очевидна?

Упитанные тела потомков мапуче облачены в китайскую одежду. Точно такие же спортивные штаны я видела и в Пермском крае, и в Ленинградской области. Стоило лететь на другой конец Земли, пересекать Анды, чтобы встретить «старого знакомого» — китайский ширпотреб, самый доступный и беспощадный обезличиватель человечества.

Еще сто лет назад они могли сделать оберег из листа эвкалипта, так похожего на изогнутый кинжал, и птичьего перышка. А сейчас? Самое уникальное, что я могу привезти с Юга Чили, — это носки из шерсти альпака, связанные древней старухой вручную, отданные перекупщикам.

Хотя и сейчас в Чили живут индейцы. И они по-прежнему хоронят своих покойни-

ков со всей их одеждой и личным скарбом, который еще пригодится тем на Том Свете.

Тела остатков мапуче оплывают, черты их из резких, неудобных, усредняются, сливаясь в общий портрет жителя Южной Америки, — человека среднего роста без особых примет.

Столичные чилийцы проводят «бэби шауэры», празднуют католическое Рождество с размахом, неделю пьют за День Независимости, любят бренды и торговые центры. Время от времени бабушки или наны-мапуче рассказывают внукам старые сказки. А в глухих деревнях еще живут забытые боги. Живут тихо.

У меня есть подруга мапуче. Я никогда не узнала бы про ее дар предвидения, если бы как-то раз ей не приснился вещий сон про меня. Время от времени она получает сведения на того или иного человека. И, как позже выяснилось, все ее сны сбылись.

Она считает это скорее недостатком и почём зря не болтает. Притом что у мапуче всегда были сильные связи с умершими

предками и с духами земли, которые поддерживали живых, подсказывали, что их ждет. Подруга рассказывает, только когда это кого-то лично касается. В остальное время притворяется обычной женщиной.

Мексиканские индейцы в лучшем положении. Ревностно оберегая бесценные знания, шаманы передают их из уст в уста. Для того чтобы просто познакомиться с шаманом, нужна очень сильная мотивация. Проще говоря, если вам суждено познакомиться с одним из них, то он сам вам встретится. Случайно.

Парень моей подруги, живущей в Мексике, как-то заблудился в джунглях. Сначала он набрел на дом шамана, устроенный в кроне высокого дерева, а потом встретил и его самого. Так он познакомился со своим духовным учителем, получив ценные сведения про себя и знания по мироустройству. В числе прочего тот поведал ему, что время нелинейно и объяснил, что шаманы одновременно бывают в разных измерениях.

А те, кто под видом шаманов принимает у себя туристов и пьет с ними мескаль, — просто ряженые.

Волшебство утекает сквозь пальцы, уходит в леса. И пока степенная Медея стоит в очереди за гамбургером, ветер гонит пустой пластиковый пакет, как перекасти-поле, вдоль пустой улицы.

«Первый в роду будет привязан к дереву, последнего в роду съедят муравьи». Так заканчиваются «Сто лет одиночества». И когда последний будет съеден, ничего не останется, кроме муравьев. Суетливых, занятых, совершенно одинаковых.

В мире почти не осталось тайн. И даже на другом конце Земли, в Чили, мне не хватает колорита, древних преданий, сказок.

Но чудо в том, что еще не все на свете можно наугад двумя кликами мышки.

Ужин с Человеком дождя

В Чили я живу с 2013 года. Так уж вышло, что первый день рождения, на который меня пригласили в Сантьяго, был день рождения Человека дождя.

У моей квартирной хозяйки Барбары есть дальний родственник Пато — дома его зовут



Пато Локо (Сумасшедший Пато). В детстве он переболел тяжелой формой менингита. Диагноз — аутизм.

Меня предупредили, что мы идем на день рождения к инвалиду, и я готовилась провести несколько часов с фальшивой подбадривающей улыбкой.

Пато исполнилось 53 года, но он до сих пор думает, что ему пять. Он с детства был не таким, как все, но его никогда не отдавали в больницу надолго. Он все делает сам и почти не нуждается в посторонней помощи. Работать, конечно, не может.

Праздничный стол очень похож на наше застолье: вино, кола, тушеное мясо, салат, отварная картошка. Есть даже водка Stolichnaya — made in Latvia.

Пато хочет сидеть рядом со мной: «Ты выглядишь как люди из телевизора». Очень смешно, Дастин Хоффман, думаю я. И мысленно жму руку актеру за блестящую игру — как он все угадал.

Сначала Пато жил с родителями, а потом, когда они умерли от старости, его забрал к себе старший брат Барбары. В доме живут три поколения: жена, две дочери и трехлетний

внук Хоакин, который еще не догадывается, что с его двоюродным дедушкой что-то не так.

Чилийцы пьют Stolichnaya, говорят о России, а Сумасшедший Пато подходит сзади и гладит меня по голове. Я не чувствую ни страха, ни щемящей жалости. Ничего из того, что чувствовала в русском метро при виде инвалидов, вынужденных просить милостыню.

И все равно я набиваю рот салатом, чтобы не зареветь.

Вокруг меня простые люди, я сюда случайно попала, я не выбирала образцово-показательный дом со счастливым инвалидом. У них проблем невпроворот, Хоакин вообще растет без отца. Зачем им недееспособный человек в доме?

— У нас, — говорит Барбара, — все живут с родственниками. У нас не принято сдавать стариков в дома престарелых, а недееспособных — в дома инвалидов.

Барбара рассказала мне про «Телетон». Teleton Chile — сокращение от «телемарафон» — проводят каждый год в начале декабря. В этот день на всех каналах показывают одну и ту же программу: 27 часов репортажей про инвалидов. В этот день все банки





принимают средства в пользу фонда «Телетон». В этот день никто не работает.

Первый «Телетон» собрал пять миллионов долларов, из года в год суммы росли. Всего собрали треть миллиарда и на эти деньги построили десять реабилитационных центров. Дети там лечатся, а потом возвращаются домой, в школу, к друзьям. Или в семью — такую, как у Сумасшедшего Пато.

Этот пожилой чилиец, похожий на Дастина Хоффмана, довольно хорошо говорит и любит придумывать новые слова. А еще он любит одежду. На день рождения ему подарили много обновок. Пато примеряет каждую и выходит к гостям. И так до тех пор, пока не выносят торт со свечками. Их пять.

А любовь, как сон, стороной прошел

Смотрела я раньше черно-белые итальянские фильмы и думала: вот было бы славно говорить на этом самом красивом

языке в мире! Об испанском же я никогда так не думала, он для меня просто не существовал.

С придыханием выбирала русско-итальянский разговорник, учила простые фразы раз в неделю. А потом вдруг взяла билеты в Южную Америку. И понеслось.

До отлета — месяц. И нужно кровь из носу знать хотя бы базовые фразы до прибытия на место: «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?»

И за месяц до вылета подруга, владеющая испанским, взялась меня поднатаскать.

Сначала язык совсем не давался. Ассоциаций ни с Испанией, ни с испаноязычными странами не было. Никогда туда не хотелось, никакими мачами не грезилось, и вообще, «коррида — это ужасное, кровавое зрелище!».

Ничего совершенно не запоминалось. А первые услышанные слова казались очень смешными. Глагол «воу» («идти, иду») я запомнила как «мальчик». Спряжение «уо voу, tu vas» («йо бой, ту бас»/«я иду, ты идешь») запомнилось мне как «я — мальчик, ты — автобус».



Третье лицо глагола «идти» — «va» («он, она идёт») для меня вообще звучало как Коровьевское: «Ба! Да ведь это писательский дом. Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом».

Затем пошли курсы испанского, из которых выяснилась масса нового. Например, что имя Segreу дословно означает «быть геем»: от глагола «ser» и существительного «geu». А имя Галина, как и в Италии, дословно переводится «курица». Но местные с пониманием относятся к сложным иностранным именам. И честно пытаются выговорить «Серёжа» или «Сбета».

Если у нас Любовь/Люба — это определенная женщина, то в Чили «Любовью» можно называть кого хочешь. Любимого человека: бойфренда, мужа, ребенка, сантехника, хорошо сделавшего свою работу, — называют «mi amor» («моя любовь»). Так что это слово повсеместно используется и как обращение.

Меня называли «мямор» водители, продавщицы пирожков и сладкой ваты, торговцы на рынке, случайные знакомые. Словом,

все те, кто, незаметно обманув на пару песо, подсознательно возмещает недостачу вербально. Мьяморам называют внуков и всех говорливых людей радушные бабушки и дедушки, так благодарные молодым за внимание.

Mi amor — это и лично-любовное, и затерто-безличное обращение. Не раз замечала, что некоторым тетушкам проще назвать кого-то «мямор», чем вспомнить имя.

Интересно, что el amor — существительное мужского рода. «А любовь, как сон, стороной прошёл» — пелось бы в испаноязычной версии. Или: «Любовь нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь», а также: «Любовь, похожий на сон, счастливым сделал мой дом».

Глаголы, как водится, самые употребляемые — все сплошь неправильные, требующие зубрежки. (На самом деле все это возмездие за недоученный английский!)

И — первые радостные наблюдения человека, изучающего испанский. Например, что слова «зима» и «ад» очень похожи: «invierno» и «inferno». Еще одна пара «сов-

падений»: «casado» — «cansado», «женатый» так напоминает «усталый». А иногда я путаю «enojado» (сердитый, гневный) с «mojado» (мокрый) и могу случайно сказать: «Снимай сердитые ботинки!»

Радует, что уменьшительный суффикс (-ito/ita) (-ито/ита) добавляется почти ко всем именам существительным и собственным: тесито, кафесито, аморсита, побресита, Барбарита, Алехандрито, Робертито (Чаяк, кофеек, любимка, бедняжка, Варварушка, Сашенька, Робертик).

Чилинизмы — это отдельная, интереснейшая история. В Чили испанский достаточно специфичен. Поэтому каждый урок в хорошем языковом центре испанского для иностранцев идет с поправками на чилийский.

Один знакомый, давно говорящий на испанском (на том, котором говорят в Испании, и на том, которому учат добротные советские учебники), приехав в Чили, первым делом хотел «изнасиловать» такси. На самом деле он, конечно, никакой не насильник общественного транспорта, просто хотел «взять» («cojer») такси, сесть и поехать. Но в Чили этот глагол несколько изменил свое значение. Если в Испании вы можете спокойно «взять» (cojer) такси, автобус или книгу, то в Чили лучше сказать «tomar taxi».

Еще одна интересная особенность. То, что в логике русского языка употребляется

в значении «от» (лекарство от головной боли, средство от натоптышей), в тех же самых случаях тут используется противоположный, казалось бы, предлог «для»: «Дайте мне, пожалуйста, лекарство для геморроя и лекарство для натоптышей» или там: «А есть ли у вас таблетки для головной боли?»

Например, одна из аптек в Сантьяго так и называется: «Все для вашей болезни». И абсолютный хит: аптека «Дом болезни» (Casa del Enfermo), что задумывалось, скорее всего, как «Дом лечения от болезней». Но, как ни крути, покупаешь лекарство для лечения от чего-то. Вопрос логики конструкций. Что интересно, «Дом болезни» удивил не только меня, но и местных жителей.

С испанским языком я все еще на «Вы» и не собираюсь резко сокращать дистанцию. Каждый миллиметр настоящей близости завоевывается годами. Не хочется форсировать события и зубрить до отвращения.

Мне уже подарили мою первую книгу на испанском — «Дон Кихот». Я заглядываю в нее, но читать пока не решаюсь. Зато в любом романе Исабель Альенде испанский попроще, и читать ее книги, весьма популярные в Чили, уже не страшно. А чилинизмы на самом деле очень интересны, и для меня, например, это добрый знак — значит, с фантазией народной все в порядке. Ведь язык, особенно разговорный, — это облик страны.

Андрей Мансветов

[...] бог [с малой] Бог [большой] Александра Петрушкина



*Если коротко, тот, что здесь — далеко не я:
я — тот мячик, который пес понесет с водой —
подними, отпусти, надкуси — вот опять упал
/полетел/удивился — беременной стал землей.*

Говоря в этот раз об этом авторе, я отчетливо понимаю искаженность последующей речи, поскольку мысль «троит» — вот и первое слово из опубликованной в номере 2, 2020 журнала «Дети Ра» подборки Александра Петрушкина.

Свежей подборки. Свежее — уже, верно, не будет.

Речь здесь неизбежно тяготеет разом к конспирологии, мифологии, обрывкам впечатлений, диалогов, курьёзов. Память альбомна, более даже фото-, чем кинематографична, и чем далее, тем менее возможна точная [тонкая] настройка, а именно она и нужна.

Это его, Петрушкина, метод, его постоянный ревизионизм собственного слова, слова амплитудного, во многом избыточного, иногда откровенного до бесстыдства и юродства, часто намеренно [бес]совершенного и тем живого.

Чтение журнальной «ленты» после вышедших в конце 2019 года «Стихотворений», про которые автор говорил: «определился, что написал за время своей осознанной поэтической деятельности (20 лет) 125 стихотворений, с которыми не смог пока расстаться — потому и включил их в книгу», не напрягает, как могло бы, но возвращает в процесс. Петрушкин писал много, писал постоянно, и приращение [течение] ценил выше последовательных связей. РЕЧЬ становилась важнее и больше СЛОВА, как вектор всегда больше и динамичней точки, вектор дает движение, дает жизнь.

Эта динамика в подборке прочитывается верхним чутьем, по первым строкам, вписанным в единый ритм. Вот начала первых четырех стихотворений:

*Все полость или свет
от мрака отраженный...
(12.01.19)*

*Не тяжелей метель дороги лошадиной...
(13.01.19)*

*Квадраты воздуха округлы, виноваты.
(29.01.19)*

*Молчания белый плод —
плеск изнутри весла...
(25.02.19)*

Понятно, что, если от каждой из приведенных строк идти вглубь, ритм ломается, возникают зацепки, иные поводы подумать, чужая и смежная поэтическая речь. Прочитанное здесь «Слепи снежок, как новый алфавит...» уводит, например, по памяти к «Всё кончено. И бог молекулярен» Кальпиди (2005), где «Он вместо снега ссыпал алфавит...». На уровне ощущений всплывает и Александр Еременко, и Аркадий Драгомощенко, и, вероятно, много кто ещё.

Лирика проступает сквозь инженерные наброски мироздания, уточняется и приращивается собственный и всемирный духовный и культурный опыт, опыт говорения Богу и с Богом.

*Все гложнет, слепнет — вынь бельмо мое,
как электрические смерти киловатты
из механических заснеженных птенцов.
Будь пианистом-слесарем, слоном...*

...у меня связывается с стихотворением «La mariposa de arena» (То, что чудеснее речи любой...), вошедшим в книгу «Геометрия побега» (2018).

*Но ничего не случается, что
может озвученным стать — переносным
смыслом. За контур — усни, инженер,
слесарь-сантехник бабочкам водным.*

Это поле ассоциаций и подобий можно расширять и расширять, опираясь на крылья постоянных для Сашиной поэтической речи бабочек, воробьев, ангелов. Собственно, поэзия, по словам самого Петрушкина, есть говорение «на ангельском диалекте», что бы поэт ни имел под этим в виду.

«Поэтическая речь — это наиболее точное отражение искаленного своей неприятностью бытия. Если вы поняли, о чём я — то рад за вас, если нет — то вы всё поймёте, выйдя с той стороны словесного лабиринта. Хотя и точность — никак не соотносится с необходимостью своего проявления в материи стихотворного текста», — пишет Петрушкин.

Отмечу, что вопрос точности здесь важен, но важен в специальном смысле — пока поэзия тяготеет к откровению, к той «передаче», которую удалось поймать собственной «антенной» и выдать в мир, минуя процесс дешифровки. Не знаю, можно ли говорить здесь о поэтической честности, но о поэтической адекватности — несомненно. Отдавать то, что получил, не более, но и не менее.

Итоговый код необходимо или дешифровывать по подсказкам (библейским и прочим), либо принимать все как есть, опираясь на визуально точные (в прямой и обратной перспективе) маркеры. «Как потоп, наступает земля», «разрезан, как хлеб и рассвет», «ангел стоит — сам себе белый лес или камень» и т.п. Здесь важно вовремя остановить собственную читательскую рефлексию. Помните, были такие стереокартинки, где изображение проступает из хаоса пятен только при определённом усилии глазных мышц.

Кстати, с какого-то момента понимаешь, что поэтическое изображение раз за разом строится из одних и тех же пикселей, или, по Петрушкину:

*но ты стоишь, все это говоришь
и выжигашь куб, квадрат и нолик.*

Оттого — много как сквозных, так и смежных повторов. Так, «беглый отец», который появляется в стихотворении «Глаз голубиный тяжел, словно он в Арарат...» через кольца киноплёнки (способ зрения в стихотворении, датированном днем позже), приходит к:

*отец,
что растворился
среди своих колес,

бегущих по
отсутствующего глади
при каждом в камень
падающем взгляде.*

*Так бабочка
касается лица,
в котором нет
[и не было] отца,*

То есть мы снова возвращаемся к уже упоминавшейся аллюзии на Чжуан-цзы:

*Богу (отцу? — примечание мое), что бабочке может присниться
то, что чудеснее речи, и снег
в камне за ней продолжает кружиться.*

А Петрушкин продолжает работу с богом и алфавитом. Работу всегда на ощупь, вслепую.

*Изнанка голоса есть Брайль,
который сыплется наружу.*

Или вот:

*И человек [увиденного список]
[как жест из смерти] вычтен и исчислен,
и удлинен до мокрой фотовспышки,
где улыбается [как подпись к...] темноте.*

Жизнь, смерть, жизнь как функция смерти, смерть как функция жизни, зрение во всех возможных и невозможных способах, зрение разрезанное, вынутое из глазниц, ангелы, которых женщина может, например, раскатать из рулона, которые неподвижны, которые застыли, дыры и отверстия («дырка в руке рыбака», «взвезда просветы ангелов, как курки», «Воронята сверлят дыру на его плече», «Крот, что проделал дыру, как зрачок», «кожей своей, состоящей из желтых щелей» и так далее). С какого-то момента понимаешь, что сквозными оказываются все образы. Они наслаиваются сами на себя, обрастают лексическим 3D, приходят в движение, оставаясь и продолжаясь.

Автор, кажется мне, делает это вполне осознанно. Избыточность нужна и ему, и мыслимому [видимому] читателю (Если вкратце сказать, то получится «будем жить»). Только через избыточность становится возможным непрерывное уточнение, игра в ответы и вполне серьезные, без малейшего привкуса игры вопросы.

*Что означаешь ты, кроме себя самой,
вздувшаяся природа среди ночных пузырей
(...)
Что означали мы, припоминая свет
между водой и водой — поломки, осколки и...*

Иногда эта же избыточность перехлестывается через края собственно авторской речи. И возникает Дант голосом Пастернака. «Наполовину снег висит, / он, свет пройдя до половины».

И совершенный, хотя и не написанный Иосифом Александровичем Бродский

*Так сядешь в кафе —
и уже навсегда просрочен
потерян, как воздух из легких
исторгнут, что значит — точен.*

*Так не бывает — тикает рядом касса,
стрелки взбивая из речи. Теперь опасно
рядом стоять (глядишь и нацепят ценник,
то есть окрикнул и в имя твое, как солому, веник...*

Это не выглядит эпигонством, не снижает впечатления, хотя масса текстов, вольно или невольно написанных «под Бродского», дает устойчивый рефлекс отторжения. А здесь вот раз, и не даёт. Феномен — отнюдь не объяснимый тем, что «Петрушкин мне друг». Феномен, нуждающийся в объяснении, в ответе, который невольно продолжаешь искать в этих стихах, читанных фейсбучно, раздробленно.

И снова возникает банальная мысль о том, что социальные сети нагнули поэзию, разодрали автора на портянки единичных высказываний. Что-то вроде «из-за деревьев не видно леса», когда лес [речь] важнее. А к этому ещё — постоянно возникающая на пути автора пресловутая гераклитова река. Река — тоже сквозной образ, только смысл ее понимаешь далеко не сразу, пока не получаешь точного указания:

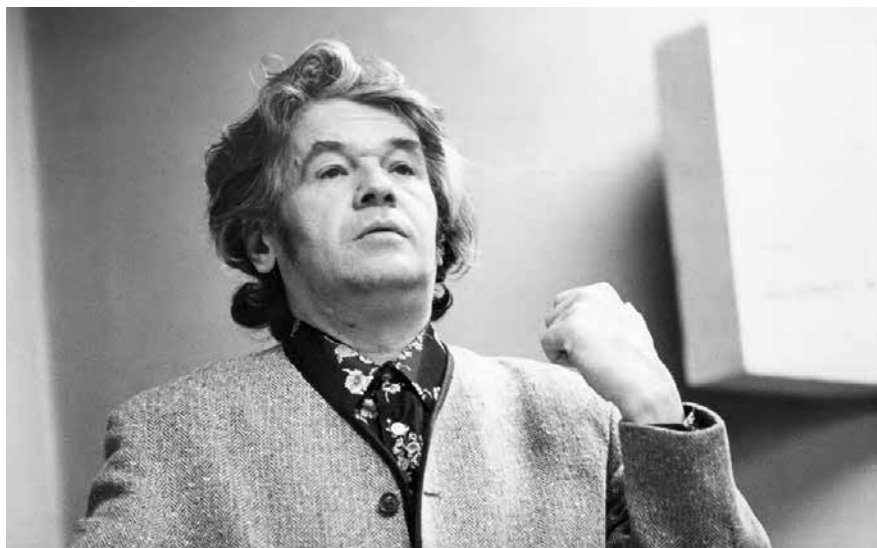
*Тот, кем записано это, уже не я.
И тот, кто читает первым, это не я.
Человек — это голос крапивы, которым сгорает дом,
прикасясь ко смерти своей каждым больным углом.*

Вместе с этим пониманием приходят еще несколько. Поэзия мутирует в чистую метафизику и «Этот берег исчезнет раньше реки, у которой он...». Я не знаю, что еще, кроме смерти, может означать для человека, осознанно и любовно живущего в озерном краю, исчезновение берега. Догадываюсь, ощущаю интуитивно, но облечь в слова не получается. И не надо, наверное. Как о смерти [тоже? теперь?] не надо. Сказано уже. В двух строчках сказано то, на что многим не хватит кипы листов в рост человека.

*Мертвые нас победят, увеличив свои ряды
ступай осторожно — потому что мы их следы...*

Ольга Роленгоф

*Неистовые футуристы,
Лев Давыдычев
и «Академия первых»*





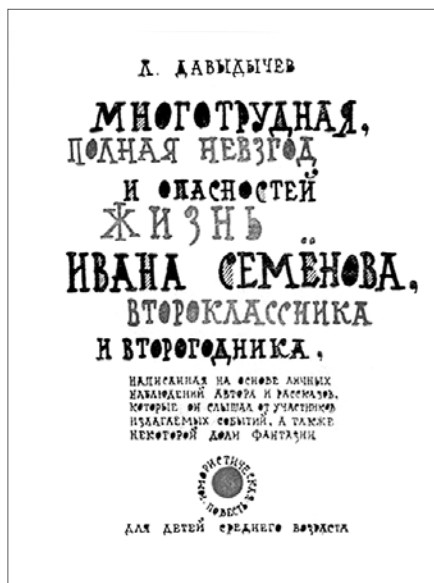
И все-таки они встретились — хотя никто не ожидал такой необычной

В
С
Т
Р
Е
Ч
И

Предвестниками ее стали события 2014–2020 годов в российском дополнительном образовании. В 2014 году в Сочи был создан образовательный центр «Сириус», обучающий детей школьного возраста на бесплатной основе по углубленной программе. С 2017 года начали открываться региональные центры по модели «Сириуса». В 2020 году возможности появились и в Пермском крае — был открыт региональный центр-партнер «Сириуса» — «Академия первых». В рамках проекта в конце 2020 года в Перми запущено направление «Литературное творчество» для школьников 5–11 классов. А внутри направления на момент мая 2021 года состоялось уже 4 смены.

Подготовка писателей предполагает раскрепощение их сознания, раскачку творческой составляющей с параллельным развитием чувства языка. Тут на помощь приходит опыт пермских писателей старшего поколения, писавших для детей, — Льва Кузьмина, Владимира Воробьева, Ирины Христюковой и Льва Давыдычева.

Школьникам 20-х годов XXI века понятны и интересны тексты Джоан Роулинг, Владислава Крапивина, в какой-то степени Кира Булычева, Даниила Емца, популярен в их среде жанр русского школьного фэнтези и японских манга. Кстати, Кир Булычев оставил «Фантастический бестиарий», который тоже хорошо воспринимается ребятами и помогает на занятиях, параллельно со знакомством с бестиарием Борхеса и Роулинг. И в этом контексте языковые опыты «папы» Ивана Семенова и Лелишны из третьего подъезда, пермского писателя Льва Давыдычева, работают сразу во всех трех направлениях — и раскрепощения, и раскачки, и развития. Школьники получают от Льва Ивановича такие необходимые в литературном творчестве разрешения-благословения на фантастическую смелость, юмористическую составляющую и языковую игру, что дает надежду на нынешнее накопление и последующий взрыв творчества в пермской литературе.



А при чем тут футуристы? В процессе разбора текстовых особенностей повестей Давыдычева мы с участниками первых смен пришли к выводу, что без влияния языковых экспериментов футуристов тут не обошлось.

Интересно, что косвенно это подтверждается биографией писателя — во-первых, утверждается, что Лев Давыдычев родился в семье филологов, во-вторых, что получил профильное филологическое образование. Вначале Лев Иванович пошел в нефтяной техникум, но вскоре после его окончания сменил направление работы на журналистику, так как, по собственному утверждению, с детства мечтал стать писателем — его голова работала на обработку событий собственной жизни в художественный текст с раннего возраста. Начинал в газетах «Звезда» и «Большевистская смена», работал в Пермском книжном издательстве, одновременно заочно учился на историко-филологическом факультете Пермского университета.

Индивидуальный стиль писателя (идиостиль), специфические особенности его языкового выражения формировались постепенно — с 1952 года, начиная с первых изданных произведений, видно вылупление юмористическо-игрового языка.

«Буквально каждая книга Давыдычева — смелый эксперимент, — пишет исследователь его творчества С. Сивоконь, — содержательный, сюжетный, жанровый и даже графический».

Поколение детских писателей, пришедших в литературу в 1960-х годах, как заметила И.Н. Арзамасцева, узнается по раскованности, граничащей с озорством, любви к художественной игре, которую Арзамасцева связывает с традициями серебряного века и русского авангарда 20–30-х годов и западноевропейского модернизма. Конкретно у Льва Ивановича экспериментаторство в духе футуристов проявляется в графическом оформлении текста. Заметно, что писатель хорошо знаком с визуальными поэтическими опытами футуристов, творчески их перерабатывает под нужды прозаического текста и использует для усиления эмоционального воздействия на читателя.

Если он хочет выделить важную мысль, привлечь внимание читателя, то сочиняет *необычную по оформлению строчку*, играя с расположением букв: печатая их то столбиком, то по диагонали, то, как Маяковский, ступеньками, то врассыпную, а то и справа налево. Некоторые слова в произведениях записаны с повторением букв или слогов.

«Вот я и приступаю к краткому изложению тяжелейшей жизни Шурика Мышкина.

Многое в ней вас поразит, а кое от чего вы содрогнетесь.

Да, да, вы только вдумайтесь, уважаемые читатели: ЕГО ЗАСТАВЛЯЛИ УЧИТЬСЯ ДАЖЕ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ, ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ, не говоря уже о весенних и зимних! Он, горемыка, ежедневно весь год решал задачи и примеры, писал диктанты, зубрил все учебники подряд».

«Мне не хочется, мне абсолютно не хочется, — втянув взъерошенную голову в плечи, признавался Шурик, предварительно три раза вздрогнув. — Я не понимаю, для чего быть потоптанным абсолютно круглым отличником. Мне больше нравится быть полукруглым. Кроме того, у меня в голове давным-давно всё *епернуто*...»

«— *Достукались*, — мрачно заключил папа. — До-вос-пи-ты-ва-ли! Это крах наших совместных педагогических усилий. Полный крах!

Шурик молчал.

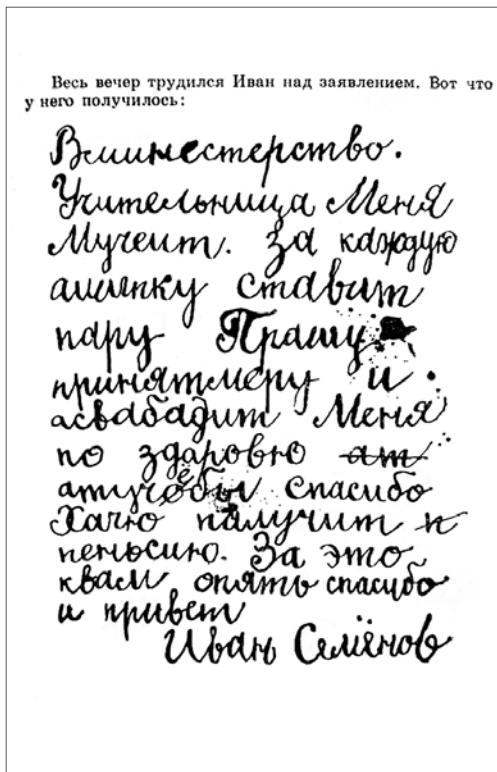
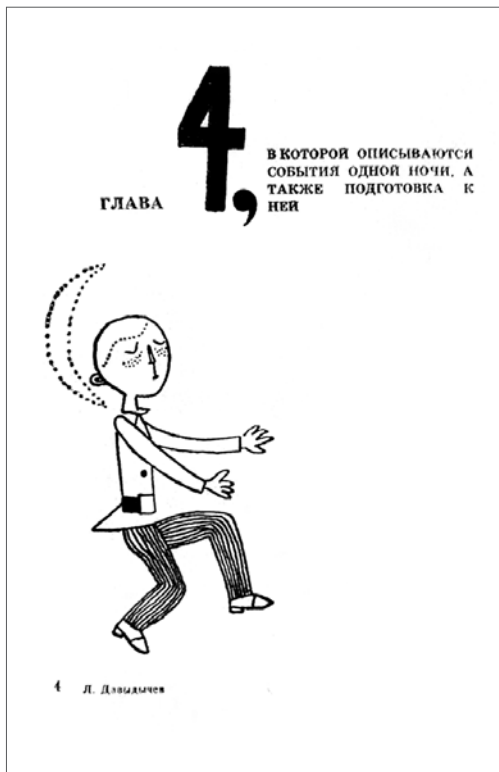
Мама молчала.

Молчал папа.

Молчал дедушка.

Все молчали.

Конечно, главного Шурик родителям и дедушке не сказал: жалел их. А главное заключалось в том, что ему давным-давно просто-напросто не только надоело, а ОПРОТИВЕЛО учиться. Он, если так можно выразиться, ПЕРЕучился, ПЕРЕстарался, ПЕРЕслушался, ПЕРЕзубрил и т. д. и т. п.



«Злой девчонки нигде не было.

Ни-где!

Ис-па-ри-лась!

У-ле-ту-чи-лась!

Пришлось Петьке отвечать одному. И за то, что засоня, и за то, что соврал насчёт Сусанны.

Но он не плакал.

Он думал о том, куда могла деться злая девчонка.

А попало ему здорово. Так попало, что я даже не буду описывать — как.

Сами догадайтесь.

Но повторяю: он не плакал.

Он думал о мести.

НЕВЕРОЯТНЫЙ ПРЫЖОК!

Только в нашей программе!

НЕВЕРОЯТНЫЙ ПРЫЖОК!»

«Иван девочки не заметил, запнулся об неё и полетел кувырком, считая головой ступеньки.

Стук!

Стук!

Стук!

Стук!»

Смотрю: на скамейке под фонарём сидит человек и...

У меня от удивления, как говорится, глаза на лоб полезли, а от страха волосы на голове зашевелились.

Ведь человек этот поднимал с земли гальки, подбрасывал их в воздух, и они

п

а

д

а

л

и

е

м

у

в

р

о

т.

Я начал считать гальки. Одна... десять... тридцать шесть...

Человек поднял гальку величиной с кулак, подбросил в воздух и — проглотил! Заметив меня, он сказал:

— Присаживайтесь.

А я подумал: «Вдруг он возьмёт меня, подбросит в воздух и — проглотит?!»

— Садитесь, — снова предложил мне этот странный человек, — отдыхайте.

Я присел, а он продолжал глотать гальки».

Читатель всегда запоминает то, что выбивается из привычного оформления текста, и Лев Давыдычев умело пользовался этим приемом, самозабвенно играя строками, шрифтами

и знаками препинания и несомненно радуясь своим выдумкам и находкам. Эта радость явно проглядывается и придает дополнительную энергетику тексту. В 1962 году Пермское книжное издательство, самоотверженно справившись с необычной версткой, требующей вдвое большей работы, напечатало книгу об Иване Семенове.

Другим отличием игровой авторской манеры Давыдычева можно назвать восходящее к средневековой стремление максимально предварить рассказ объяснительными наименованиями, происходящее, скорее всего, из европейской устной повествовательной традиции.

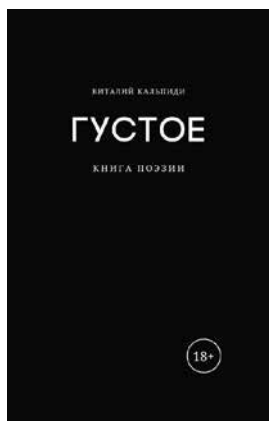
В полном пространном названии произведения «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника, написанная на основе личных наблюдений автора и рассказов, которые он слышал от участников излагаемых событий, а также некоторой доли фантазии» — 31 слово. В названии следующей повести, написанной спустя 4 года, — «Лёлишна из третьего подъезда, или Повесть о доброй девочке, храбром мальчишке, укротителе львов, двоечнике по прозвищу Пара, смешном милиционере и других интересных личностях, перечислить которых в названии нет никакой возможности, потому что оно и так получилось слишком длинным» — 38 слов. А еще спустя 5 лет была закончена повесть «Руки вверх! Или враг №1», в полном названии которой 59 слов.

Пространные названия — прототипы аннотаций — также позволяют сконцентрировать свою мысль, научиться выделять главное, что, несомненно, очень необходимо в школьном возрасте, при этом не выхолащивая детское воображение.

Можно сказать, что с педагогической точки зрения Лев Давыдычев очень филигранно, бережно общается со своим читателем и в игровой форме вовлекает его в свою языковую вселенную.

Сергей Ивкин

Назначение книги



Двенадцатая книга создателя мифа «Уральской поэтической школы» Виталия Кальпиди заявлена как итоговая и неудавшаяся (из замысленных 22 текстов в ней присутствуют 17,3). Попробуем её прочесть не как прокламацию или очередное «Нате», а именно как «книгу поэзии» (не стихов). Сам автор даёт на её страницах множество определений «поэзии»:

- это не лучшие образцы стихосложения, а движение поэтической речи. (97)
- это непрерывное умение намекать будущему, каким ему следует быть. (52)
- это только что завоёванная территория, которая поэзии до этого момента не принадлежала. И даже она уже не будет поэзией, во всяком случае через пару недель (максимум через год) после того, как... (50)
- это консервация глубоко ошибочной мысли, что организованная речь может интенсивно влиять на человека. Она не влияет на человека. Она подменяет его на ангела. (76)

Все они сводятся к тому, что «в поэзии важно, хочется ли вам после неё жить и мыслить не по-своему ярко и не по-своему напряжённо, ощущая, что мир начинает создаваться из вашей внезапно возникшей страсти — страсти освободиться от себя». (44)

То есть перед нами инструмент для интеллектуальной метаморфозы, а не проведения досуга. Из этого и будем исходить.

Поскольку книга заявлена как последняя, то тема смерти, подробно начатая в «Мерцании»¹, в «Густое» достигает абсолюта, не только продолжая метод построчного комментирования стихов, но и обогащаясь «приговскими» предувещаниями, развивающими темы, рассмотренные в «Философии поэзии»². Абсолют заключается в повороте вектора: «...не страх смерти преследует человека, а человек начинает преследовать страх смерти». (9)

Итак, «...после смерти только три пути: исчезнуть в аду рая или в раю ада, воскреснуть или стать творцом своей вселенной». (120) Пройдёмся по каждому.

1. «Рай возможен только на земле. Здесь им и нужно наслаждаться». (35) Процесс смерти психологической до смерти физической описан неоднократно, как и психологическое воскрешение, например описанное «умницей Тавровым» в интервью Владимиру Коркуну³:

«...после одного из кризисов, когда пришла пора усомниться во всём насущном, имя для меня словно выгорело вместе с тем периодом жизни, который кончился. Я тогда уехал в глухую Валдайскую деревеньку в десять домов, три обитаемых, с сильным желанием начать всё сначала после 40 лет жизни и 25 — письма». Этот сценарий Виталий Кальпиди видит шире, предлагая массовый сброс устоявшихся литературных традиций и подробные инструкции по дальнейшим поискам «не себя». Одним из пунктов следует рекомендация по выпуску книг: «все современные поэтические издания нужно унифицировать: выработать нейтральный стандарт издания поэтической книги (дизайн, тираж, объём, периодичность выхода в свет) и только таким — справедливым — образом выпускать их в «жесткой копии». Лучше, если анонимно». (78) У «Густого» автор сохранён, поскольку стихи в книге — не главное. Они — повод для предувещаний и комментариев, назначение которых как раз в переходе ко второму пути посмертного существования.

2. «...если произведение искусства не может никого воскресить — значит, перед нами полуфабрикат». (13) Внимательно читая тему «воскрешения» у Виталия Кальпиди, быстро понимаешь, что речь идёт не о христианском восстановлении в прежней физической оболочке, а о сохранении образа мышления автора в другой голове, практически о вирусном заражении или создании «крестража». В таком случае «магия поэзии» — вещь пугающая.

Книга открывается вопросом: «Можно ли предотвратить кораблекрушение, просто не дав крысам сбежать с корабля?» (5) И вскоре разрешается идеей: «Что же касается крыс, то их тут две — я и вы». (7) В дальнейшем: «Массовый читатель — чушь. Между собой договариваются не массы, а два одиночества. И договариваются они не с целью это одиночество преодолеть, а напротив усугубить эти свои состояния, превращая их из свалки страданий в целину открытий». (77) «Одиночество — это значит вступить в одиночество со всем, что тебя окружает. Одиночество — это самые интенсивные отношения, а не статика». (16) «...одна из целей поэта — это борьба не за читателя, а против него». (77) «Для поэзии народ — органическая масса, которая никогда не воспользуется достижениями поэзии. Никогда. Её достижениями может воспользоваться только поэт. Поэту не нужны читатели. Ему нужно умение перевоплощаться в читателя своих стихов, чтобы эти стихи повлияли на него самого и сохранили своё влияние, когда он опять вернётся в состояние человека, готового стать поэтом. Опыт художника индивидуален и принадлежит только ему и никому более». (108) «Задача поэзии — это борьба с врагами, которые ещё не родились». (105) «Меняться в процессе творчества — вот что есть дар. Способность же к творчеству — тривиальна». (67) «Поэзия может создать только поэта, всё остальное поэт должен создавать сам, включая и поэзию». (60) «...стихи — это просто змеиная кожа, из которой вылезает Поэт, после чего она интересна только зевакам». (60)

Говоря о собственном мифе «...самое заметное явление уральской литературы останется навсегда исполненной поэтической панорамой, где мечта всего одного человека приобрела формы, реальные для всех остальных» (108), Виталий Кальпиди делает акцент на том, что «...итог настоящего творчества — это лица без имён и черт, чёрт побери, которые всё

видят уже только вашими глазами». (29) Бессмертие происходит при жизни, а воскрешение — в наследнике мышления. И «Густое» — это завещание, изначально предполагаемое к растрате, но вдруг...

3. Третий путь, путь создания не наследника, а литературного ландшафта (который к заявленному выше «уральскому» мифу отношения не имеет). Более того, Виталий Кальпиди предполагает его наиболее вероятным в реализации: «...настоящий *читатель пространств* заканчивает тем, что пробует создавать свои. И в этом случае настоящность — вообще не показатель». (34) Стратегия экспансии, подробно описанная в комментариях, относимых к издателю «IZBRANNOE» и «Русских сосен» Марине Волковой, признана упадочной, поскольку: «Русская силлабо-тоническая рифмованная поэзия как международный жанр — иссякла. Она архаична». (74) Но поскольку она дорога автору, а стало быть, и его наследникам, то следует пойти путём редукции и сохранить «внутреннюю вселенную», не ориентируясь уже не только на Москву (или Запад, что есть одно и то же), но и на Мир в целом: «Сейчас у меня с литературой — война: она нападает на меня своей ограниченностью». (18)

Тезисы сохраняемого пространства:

«Я исхожу из того, что поэзия — это хорошо. А всё, что ей мешает, — плохо. Я исхожу из того, что Поэзия, Поэт и Стихи вовсе не жёсткая последовательность, более того, эта троица никогда не совпадает по целеполаганию. Цель поэзии — поэзия. Цель поэта — поэт. Цель стихов — стихи. Я исхожу из того, что целью поэта должна стать поэзия. Чем же может и должна заниматься поэзия?

А вот чем:

- создавать новые цивилизационные смыслы;
- создавать новые человеческие чувства и навязывать их;
- навязывать чувства, считающиеся нечеловеческими;
- создавать новые языковые формы, в том числе условно ангельские, изобретая ангельские чувства и ангельские представления о жизни и смерти.

Надо помнить, что Поэзия, как и любое гуманитарное мышление, занята, по сути, только одним — изобретением истины». (66)

«Юмор — это ровно то, чем тошнит истину». (61)

«С поэзией человек развивается быстрее, чем без неё. Только не стоит думать, что развитие — это всегда прогресс. Развитие — это всегда процесс с непредсказуемым направлением. Поэтому культура — процессуальна, а не результативна». (76)

«Смысл стихов — это получать удовольствие от открытий. Смысл поэзии — эти открытия совершать». (101)

«Есть очень много стихов, которые делают человека лучше и богаче, и менее что ли... обремененным. Но необходимы и другие, которые возвращают его в нищету порока. Есть ещё и такие (их-то как раз практически нет), с какими человек погружается с головой в тяжёлые воды своих грехов и преступлений. И там он познаёт первое правило небытия: можно быть с любой своей мерзостью в ладу. Потом второе правило: любовь и страдания — это деньги бога. Ими можно расплачиваться, но на них ничего нельзя купить. Земные страдания можно прекратить только одним способом — стать ангелом, причём на земле и в этой жизни». (120)

«Быть проклятым поэтами поэтом — это роскошь. Вас просто перестанут замечать. Вы станете не интересны никому. И это — первый признак, что вы чего-то достигли». (43)

Учитель Виталия Кальпиди (тот, чей вирус несёт он сам) — Борис Пастернак — указал в «Нескольких положениях»⁴: «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего». Ученик отвечает:

*На шее Иисуса нет креста
нательного, а он и в ус не дует.*

*И совесть у него — читай — чиста:
когда чиста — её не существует.* (103)

Потому книга — плод греха, отступничества, преступления. В чём её назначение: показать, куда идти не надо, или напротив научить, куда идти и что делать? «Любая чужая жизнь — это ложь, даже если она истина». (49) А поскольку, как указано выше, гуманитарное мышление занято изобретением истины, то книга, как Иосиф, толкует фараону его собственные сны, то есть у поэтической книги в принципе не может быть читателя, если понимать читателя как слушателя. «...поэзия приспособлена только для одного — изменить поэта до ангельского состояния. И свидетели-читатели тут — лишнее звено». (21) Книга поэзии пишется одним поэтом для другого поэта, это уже не «деньги бога», а нечто более ценное, то «золото эльфов», которое превращается в сухие листья в мире, но становится обратно наследием при входе в «полые холмы». Не дописав свои 22 стихотворения, Виталий Кальпиди тем не менее «выточил» ключ для входа на его территорию. *Sapienti sat*⁵.

*И это было не моление,
не торжища, не торжества,
не божество, не вдохновенье,
а вдохновенье божества.*

*Но как бы карму я ни драил,
какой бы ни прошёл дацан,
и так понятно: «Бог не фраер,
но против Пушкина — пацан...»* (33)

Виталий Кальпиди. Густое: Книга поэзии. — М., Екатеринбург: «Кабинетный ученый», 2019

¹ Виталий Кальпиди. Мерцание. Стихи. Серия: Ротонда. Выпуск 1. Фонд Юрятин. Пермь, 1995.

² Виталий Кальпиди. Философия поэзии. Челябинск: издательство Марины Волковой, 2019.

³ Коркунов В.В. Побуждение к речи: 15 интервью с современными поэт[к]ами о жизни и литературе. — Владимир Коркунов. — Самара: Цирк «Олимп»+TV, 2020. — 278 с. — (Серия нон-фикшн.)

⁴ Пастернак Б. Л. Воздушные пути. — М., 1982.

⁵ Для понимающего достаточно (лат.).

Изящные противоречия

Мария Мартысевич. *Сарматия и другие поэмы*. — Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2021



Говоря о том, может ли поэзия существовать без мифологии, философ Алексей Лосев заявляет, что последнюю можно понимать как «поражающую своей необычностью выразительную действительность». Если это так, то поэмы Марии Мартысевич — мифология в чистом виде: мир, который она выстраивает, узнаваем и выразителен в своей узнаваемости настолько же, насколько поразителен в своей необычности.

Более того, Мартысевич не ограничилась созданием личной мифологии и изобрела личную мифопоэтику. Так, в поэме «Barbara Radziwil's Livejournal (отрывки из интернет-дневника barbara_r)» она в анахроническом пространстве воспроизводит элементы истории Польши и Литвы:

*Мой юный Сигизмунд
стыдится слов
«оральный секс» и маме
без запинки,
страшась, плетет про сеймы
и послев,
когда в палатце Пацев
вечеринки.*

В «Дипмиссии» Мартысевич располагает в Восточной Европе внезапную Полабскую Республику — квинтэссенцию всего постсоветского в мире, а в «Сарматии» использует элементы несуществующей истории формирования государства сарматов, вскользь изящно встраивая противоречие:

*Кто такие сарматы? — Давно
забытый народ.
А для здешних — предки,
немного приличнее скифов.*

Изящные противоречия вообще можно назвать творческим методом Мартысевич. «Взрывоопасные анахронизмы», о которых говорит Андрей Хаданович в очерке о творчестве поэтки, настолько плотно вплетены в личные нарративы героинь ее поэм, что реалистичность хронолога не разрушается, потому что перестает иметь какое-

либо значение, капитулирует перед яркостью истории и красотой языка:

*Так говорила сестра Зоя
продавцам на Дамасском
рынке,
медработницам в женской
консультации,
бомжам на станции
«Ниневия-пассажирская»,
дачикам в дизеле на Багдад
и даже в сюжете молодежной
программы
Ассирийского телевидения.*

Эти личные нарративы — остросоциальны и настолько же остро современны: история, политика, религия, бюрократия, быт и семейные отношения в поэмах Мартысевич оживают во многом благодаря женской, читай, феминистской оптике, нивелирующей дискурсивную разницу между личным и политическим, индивидуальным и общественным:

*Любовь тут — политика,
а не блажь молодежи,
но каждая незамужняя
выбрать может
синицу в руках или журавля
вдалеке.
А я выбираю сокола на его
руке.*

Действие поэмы «Barbara Radziwil's Livejournal» разворачивается в комбинированном пространстве и времени: то ли в XVI, то ли в XXI веке, то ли в Белоруссии, то ли в Польше и Литве. Внешняя пятичастная фабула проста: тревожная повседневность — смерть мужа и траур — любовник — беременность и ребенок — счастливая повседневность — гибель матери и дочери в автокатастрофе. Но фабула, в сущности, не важна — важно чувственное наполнение этих оттисков безвременья. Оболочка заданной реальности не выдерживает насыщенности жизни, которую ей волей авторки приходится содержать, и лопается, как воздушный шар, отправляя героиню в вышний мир. В нем «всегда, как днем, светло» и говорят на другом языке. Все это подается с ахматовской наблюдательностью и трагичностью:

*У изголовья книга — лишь
одна,
и эту до конца не дочитала,
одна любовь — и та
не прочтена,
пора уйти — и не узнать
финала.*

В поэме «Сестра Зоя и Конец Света» в опять же мифопоэтическом пространстве любовь библейских масштабов в один неосторожный шаг сюжета перерождается в катастрофу, далеко выходящую за пределы возможности одного человека переживать трагедию — и потому меняющую само мироустройство:

*Ну и последнее:
если вы ищете то,
что возвысило нашу
цивилизацию
над плинтусом кайнозоя,
вам нужна сестра Зоя.*

«Богородица Зоя» странствует по планете и отменяет Апокалипсис — индивидуальный? всеобщий? — любому, кто сможет ее найти в мебиусовском мире поэмы. И происходит это незаметно и буднично — как любое настоящее чудо (например, рождение) или то неназываемое, что противоположно ему по вектору (например, смерть). А то, что граница между ними тонка, как граница между реальностью и мифом, которую Мартысевич играючи преодолевает в каждой строке текста, — читатель должен осознать сам.

Поэма «Дипмиссия» оформлена в виде сценария производственного сериала о работе дипломатической миссии условной Полабской Республики в Республике Беларусь. Каждый «сезон» начинается звонком одного из персонажей в консульский отдел и заканчивается короткими гудками (которые каждый раз звучат по-разному — в зависимости от темы предшествующей речи). Чаще всего общение с бюрократическими структурами складывается для звонящих неудачно — кроме предпоследнего, четвертого «сезона», в котором вице-директор компании «Белмаркет» обращается к сотруднице консульства не как к функциональной единице, а

как к человеку. Впрочем, обмен тайными страхами не помогает герою решить проблему с визами — но он к этому уже и не стремится.

Части «сериала», несмотря на относительную краткость, удивительно точно названы не сериями, а сезонами. Это указывает на то, что реальная продолжительность истории значительно дольше, чем следует из диалогов — либо единство места и времени обманчиво, как и положено мифопоэтике. То, что оба ответа верны, становится очевидно в пятом сезоне:

«...чтобы поговорить с родными и близкими, умершими в текущем году на территории Евросоюза, нажмите 0».

Жестокая колыбельная, которой завершается «сезон» («спит и вся-то наша улица, / спит и дышит перегаром, / только ты-то, моя умница, / не нужна кому и даром») оставляет читателя один на один с желанием еще глубже погрузиться в событийную безысходность, щелкнуть «выкл.» и закурить. Даже немного обижаешься на внезапный нарочито бодрый голос нарратора в постскрипуме.

Заглавная «Сарматия» тоналностью речи немного напоминает «Письма римскому другу» Иосифа Бродского, но этих писем-размышлений больше, и они значительно откровеннее. Анахроническая этнография Сарматии с ее политическим устройством («Они все делают так, как девочка скажет, / конопа-

тая, малого роста, но с видом строгим»), причудливыми привычками жителей («Их женщины не называют своих имен»), традициями и прочими вторичными признаками государственности невозможна вне этой откровенности. Телесность — национальная идея сарматов. Возможно, оттого, посвящая тридцать прозаических по содержанию писем жизнеописанию сарматов, героиня говорит: «все равно, чем заняться тут кроме любви, не знаю». Тем удивительнее, что «смерть сармата — вершина жизни его», хотя и в этом видится одна из изощренных закономерностей поэтики Мартысевиц: если уж утра-

чивать, так главное. Потому, видимо, и героиня, влюбленная в весь окружающий физический мир, находит конец в огне — акте бестелесности и растворения:

*Прежде чем стать в окне
твоим ромбом слюды,
зола моя, павши в землю,
нацедит воды
для того самого, ближнего
к дому, колодца, —*

а обнаружившие ее письма «средневековые» издатели говорят, что «ее вообще могло не существовать».

Опубликованные под одной обложкой поэмы Мартысевиц довольно далеко отстоят друг

от друга по содержанию, но у их стилистической уникальности общие корни: тяготение к лироэпической форме, строго женский взгляд на большие нарративы, подвижный мифопоэтический хронотоп и попытка синтезировать надлитературные медиумы. В итоге, как и положено качественной поэтической книге, целое в ней оказалось мощнее суммы ее частей, а ее билингвальность помогает русскоязычному читателю еще глубже прочувствовать значение кросс-культурности, которой авторка, по всей видимости, придает огромное значение.

Алексей Колесниченко

Я всегда шофар

Йегуда Амихай. Сейчас и в другие дни. — Екатеринбург; М.: Кабинетный учёный, 2021



Йегуда Амихай (1924–2000) — один из самых значительных поэтов Израиля. Признанный классик, переведенный на десятки языков, включенный в школьные программы, причём и за предела-

ми своей страны, — он — часть уже скорее мировой, чем одной только израильской культуры и жизни. У нас он известен и прочитан меньше, чем стоило бы. Вообще-то Амихай немного переводился у нас и раньше, но русский облик, близкий, по свидетельствам понимающих, к настоящему (об этом говорит автор послесловия к книге Юрий Левинг; нам, иврита не знающим, остаётся лишь верить ему на слово), он стал обретать только трудами Александра Бараша, русского поэта и давнего иерусалимского жителя.

Эта небольшая книжечка — уже второй книжный ре-

зультат многолетней работы Бараша над переводами из Амихая, второй том его неформального русскоязычного избранного (первый его том, сборник «Помнить — это разновидность надежды», вышел в издательстве «Книжники» два года назад).

В Израиле полное собрание стихотворений поэта на иврите составило пять томов (2002–2004), и русского Амихая Бараш выращивает медленно, следуя хронологическому порядку, в котором в этом пятитомнике тексты идут друг за другом. Стихотворения не датированы, и лишь на основании отдельных беглых

указаний мы можем догадаться, что для этой книжечки, по всей вероятности, взяты стихи из середины жизни поэта и второй её половины.

*Если сейчас, в середине жизни,
я думаю
о смерти, я делаю это будучи
уверен,
что в середине смерти —
вдруг подумая
о жизни, с той же
успокаивающей печалью
и отстранённым взглядом,
как у тех,
кто видит, что их
предсказания сбываются.*

Здесь — стихи человека зрелого и в каком-то смысле поднимающегося над возрастом, а тем самым — и над своими биографическими обстоятельствами, делающего эти обстоятельства инструментом осмысления предметов, не сопоставимых по масштабу с чем бы то ни было личным. К истории в её нераздельности с биографией они если и привязаны (внутри стихов есть отдельные даты, указывающие на обстоятельства их создания, — например, название цикла «Иерусалим 1967», из которого Бараш перевёл одно стихотворение), то в отдельных точках, — опираясь на которые, поэт рассматривает вневременные, всевременные обстоятельства.

*Одиночество всегда в самой
сердцевине,
в центре, защищено,
укреплено. И люди
должны чувствовать себя
в безопасности,*

*но они этого не чувствуют.
И когда выходят наружу —
возникают пещеры
для новых отшельников.*

Так же точно опирается он и на обстоятельства географические — на сам великий город Иерусалим, который, коренной, неотменимый, вдруг предстаёт у него если и не иносказанием удела человеческого как такового, то, по крайней мере, одним из точнейших его воплощений:

*Что ты знаешь о Иерусалиме.
Ты не должен понимать
языки:
они проходят через всё,
как сквозь развалины.
Люди это стена движущихся
камней.
Но даже в Стене Плача я
не видел
таких печальных камней,
как эти.
Моя боль светится всеми
буквами,
словно название гостиницы
напротив.
Что меня ждёт и что
не ждёт. Амен.*

Личный же его возраст разрастается до всемирной истории в целом.

Амихай — поэт-мыслитель. Всегда, даже когда говорит о любви; может быть, всего более — когда о ней, а ещё — о равновеликих ей вещах: о смерти, о времени, о судьбе человека в мире. Говорит он, принципиально не повышая голоса (в том числе и там, где любой бы — кричал, выл, рыдал), тихо, ровно, почти моно-

тонно, самой интонацией задавая дистанцию между собой и предметом речи. Это может показаться рассудочностью, но эта рассудочность, видимая бесстрастность необходима поэту для того, чтобы заглядывать в пропасть. (Страстность на самом деле — жгучая, но сжатая максимально, до точки.)

Он говорит тем более ровно и сдержанно, чем более крупных, чем более превосходящих человеческое разумение предметов касается этим своим тихим голосом. А он предпочитает касаться именно такого, превосходящего разумение, — что видно уже в первом тексте, открывающем сборник (и давшем, кстати, одной своей строчкой название для него), — в тексте-эпиграфе, который многое позволяет понять:

*Бог милосерден к маленьким
детям,
меньше — к школьникам.
А взрослых уже не пожалеет,
оставит одних,
иногда им придётся
ползти на четвереньках
по раскалённому песку,
истекая кровью,
чтобы добраться до места,
где их подберут.*

О чём бы Амихай ни говорил, он неизменно занимается крупными (и страшными в своей крупности) структурами существования и смотрит на них, не отводя взгляда, даже когда они прожигают сетчатку. Его занимает исключительно самое главное, повсеместное присутствие этого главного и острое его чув-

ствование. В каком-то смысле, пожалуй, — и собственное растворение в нём:

*Что касается моей жизни,
я всегда
Венеция:
то, что улицы у других,
у меня — любовь, её тёмный
поток.*

Сама любовь — не переставая быть огромным, коренным человеческим событием — занимает его как одна из мирообразующих сил.

Он мыслит космическими категориями (и если не сотрудник Творцу мира, то уж точно собеседник, совопрошатель, потребитель Ему). Любой предмет своего внимания он — для полной ясности видения, для наведения взгляда на метафизическую резкость — помещает в сетку мировых координат. И прежде всего помещает он туда человека, которого видит очищенным от бытовых (защитающих) обстоятельств и мелочей. В этом смысле он человека, можно сказать, не щадит, притом что никогда не перестаёт чувствовать его ценность. Или так: он к человеку библейски-требователен, и это у него — в едином смысловом комплексе с чувством ценности милосердия и единого, общего на всех, человеческого существования, каждая из точек которого чувствуется в любой другой. В упоминавшемся уже стихотворении-эпиграфе он говорит об оставленных Богом взрослых — тех самых, ползущих по раскалённому песку, истекая кровью:

*И может быть, мы
отдадим им последние
монеты
милосердия и праведности,
которые оставила нам
в наследство мать,
чтобы их счастье —
защило нас
сейчас и в другие дни.*

Вообще, слово «библейский» просится на язык при разговоре об Амихае настойчиво, пожалуй, даже прежде слова «космический». Тут стоит обратить внимание на то, как он видит и мыслит самого себя.

Между ним самим как субъектом поэтического действия и библейскими событиями нет никакой дистанции — ни сущностной, ни временной. Амихай-поэт отождествляется с ними — и они для него не в прошлом, а в постоянном, жгуче-актуальном «сейчас», сохраняют и эмоциональную, и ценностную актуальность. Он с ними — одна плоть, они — его личное дело, личная работа, ответственность и вина:

*Что касается крика, что
касается тишины,
я всегда шофар:
бараний рог, собирающий весь
год
один трубный звук
для грозных дней раскаяния
перед Судным днём.*
*Что касается поступков,
я всегда Каин:
скитаюсь перед тем, что
не совершу,
или после того, что совершил,
и это необратимо.*

В каком-то смысле он чувствует себя сомасштабным библейским событиям, легшим в основание мира и истории: он постоянно пребывает у истока мира и истории. Но это никак не означает гордыни, идеи собственной значимости: напротив, для него в этом есть глубочайшее смирение. Скорее он воспринимает себя как тот самый шофар, через который проходит трудный звук для грозных дней раскаяния перед Судным днём — одновременно и неразделимо и бараний рог, часть грубого вещества, и чуткое орудие, проводник мощных мирообразующих сил (напомним: в числе этих сил — и личная, межчеловеческая любовь. Или — что, кажется, точнее — его мир так устроен, что там нет вообще ничего только-личного и только-межчеловеческого). В таком качестве, сам по себе, поэт, пожалуй, даже беспомощен («Против своей воли слышишь / и против своей воли живёшь»). Все его личные знания и умения — ничто перед лицом владеющих им высших начал и ничем не отличается в этом смысле от природных явлений:

*Что касается твоей руки,
что касается знаков моего
сердца
и замыслов моей плоти,
что касается надписи на стене,
я всегда неуч и профан:
не умею
читать и писать,
и моя голова, как головки
сорняков,
умеет только шептать
и качаться под ветром,*

*когда сквозь меня судьба
переходит
в другое место.*

При всей своей всемирности Амихай — поэт очень еврейский, израильский. Он создан целиком из местного израильского опыта, из чувственных его подробностей; изнутри именно этого опыта и в его формах он видит свои космические координаты (тем самым сообщая опыту универсальность. Он, так сказать, универсален, не покидая почвы), улавливает их, наводит на них взгляд при помощи характерно-местных оптических средств.

Религиозным в строгом смысле Амихая назвать нельзя. Он с Творцом в иных отношениях — Бог для него, кажется, одна из неотменимых онтологических констант (может быть, первая среди них, но тем не менее):

*Судьба Бога
в наше время — как судьба
деревьев и камней, солнца
и луны:*

*в них перестали верить,
когда начали верить в него.*

*Но она
остаётся с нами
хотя бы как деревья и камни,
солнце, и луна, и звёзды.*

Один из предметов постоянного, напряжённого внимания Амихая — время, взаимоотношения с ним человека («Я словно место, которое / ведёт войну со временем»), создаваемые временем возможности и невозможности; то, как время пронизывает человека, создаёт его. О времени же он говорит как об одном из — с достоверностью известных нам — обликов вечности, не переставая при этом заглядывать за собственные пределы, воспринимая самого себя (это хочется назвать сквозящей, пронизываемой субъективностью) как всего лишь одну из бесчисленных точек, через которые проходит время, становясь вечностью и делая всех живущих единым целым (в этом смысле, пожалуй, мож-

но сказать, что Амихая чужд европейский нововременный индивидуализм). И это трансвременное единство человеческого — не (только и не в первую очередь) метафизическое, но прежде всего телесно проживаемое, чувственное, болевое событие:

*Всё, что продолжает жить,
с момента нашей смерти
и дальше,
это вечность. Мы живём
в вечном сне других,
тех, кто был до нас, мы их
вечность. <...>*

*Боль наших глаз в слепом
сердце,
оно должно полагаться
на глаза и на их боль,
на всё, что глаза видят там,
снаружи,
на что они смотрят —
для него для сердца,
и сердце превращает их
боль — в свою.*

«Сейчас и в другие дни» — это ведь всегда.

Ольга Балла

Доказательство от противного

Константин Рубинский. *Теперь никто не умер.* — Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2020

По прочтении новая книга Константина Рубинского вызывает много вопросов. Не в смысле, что я-читатель не понял автора, а в смысле, что вопросы, очевидно, поставлены. И на уровне семантики текста, и на уровне [следования, ис-

пользования, создания] речевых и письменных практик.

Да, тут с начала, т.е. с самого названия, взгляд цепляется за авторскую речь. Искраженную, конструкционно неверную для обыденного сознания. Уже сама вынесенная в на-

звание строка «Теперь никто не умер» с точки зрения этого, обыденного, читается как ошибка, несогласование времен, законченного, состоявшегося утверждения «никто не умер» с развернутым в будущее настоящим «теперь».

И топонимика — нарочито со строчной, и общенная с молитвословной вперемешку, и отсутствие единообразия наличия-отсутствия пунктуации, и помянутая уже кажимая несогласованность предложений должны не создать, разрушить цельное впечатление от книги, а вот создают и не разрушают.

Разрушается, умирает только сам автор. Но после постмодернизма, мы помним, это нормально, если не неизбежно. И в этой же системе координат все, в том числе и смерть, становится игрой, вопросом точки зрения. Автор манифестирует это, манифестирует как победу над смертью, но самому ему от такой победы, увы, не легче, отсюда и начальные строки книги:

*ты сделал так.
все сделал так.
но ты не так.
ты сам не так...*

И, как уточнение точки зрения, точки состояния дальше:

*страшней, чем рубинскому,
теперь только сам рубинский*

Автор становится и мертвецом, — у меня возникает и остается устойчивая ассоциация с одноименным фильмом Джармуша, — и самой смертью. Автор, правда, делает другую координатную зацепку, пристегивая к страшному признанию попсовую цитату из шлягера девчачьей группы середины девяностых.

Вообще, цитат, аллюзий и прочих реперных точек в кни-

ге много. Для каждого (еще один трюизм) они свои. Мне самыми заметными стали две. Одна — очень и даже несколько нарочито Окуджавинское стихотворение «Детское»:

*Из окон на ковер,
Свое чертя на нем,
Луч падает, остер,
Потоком и огнем.*

*(Неистов и упрям,
Гори, огонь, гори...).*

Другая — известный литературный анекдот, заканчивающийся: «А в это время дворник Андрей Платонов бежит за разбившим стекло мальчиком и думает: «Догоню — убью!» и, в ту же строку, стихотворение Самойлова.

Но если писатель Платонов в анекдоте хотя бы жив, а по Давиду Самуиловичу — «Рождается одно стихотворение. / Или гений, зачеркнув написанное, / Отправляется в гости», у Рубинского — книга, отправившаяся пешком в столицу за прочтением, неизбежно умирает.

*...А в соседнем, допустим, доме
Наша критикесса будет все
это время
Попивать что-то теплое
И говорить молодому
сожителю,
Видному культуртрегеру:
Как же мало осталось
Честной, б..., упрямой
литературы*

Увы, как бы мы ни хотели, эта вот ханжеская правота — еще один аргумент в пользу того, что смерть может стать и

становится той архимедовой точкой, опершись о и оттолкнувшись от которой, можно начать жить, говорить, играть, писать. И книга «Теперь никто не умер», вопреки обыденной очевидности («Мы встретимся с тобой уже в земле...», «бабушка, милая, лучше умри при мне...», «Смерть — короткое лекарство», «Заходи навсегда и честно, / Другого не будет места...», «В стопке она помирает дня через три...» и т.д.), отнюдь не о смерти.

Нет, тут безусловно — «придут враги, а мы под корень», но это мы не умерли, это мы так спрятались. Это игра, метод и путь.

Например, путь речи из мертвого в живое через автора:

*Офелия смотрит сквозь
зыбчатый пруд
Со дна, где мертва,
<...>
И речь ее вверх пузырьками
бежит
<...>
Но спиннинг мотаает
упрямый Шекспир,
Пузырик поймав.*

Важно, что эта жизнь и эта речь — не своя. В нарочито (а нарочитость стереотипного высказывания вообще характерна для Рубинского) аллегорическом стихотворении «Тенькая, птаха влетает в рот...» автор говорит прямо.

*Будет скворешней твой
грешный рот,
Лучше и не сгодится.*

*Сможешь хоть жизнь свою
оправдать —*



*Выскочки да пигмея.
...Или ты вправду имел*

сказать

Что-то важнее?

Сам же он взыскует не жизни,
но утешения («Жизнь — утеш-
ное плацебо / От небытия...»,
«Утешь меня, что успею всю-
ду, что уже успеваю...») и по-
кая, как булгаковский Мастер.
Оттого мыслимое им до- и
посмертие выглядят одина-

ково, как соседние слайды в
диапроекторе, и если: «По-
селиться в Суздале навсегда»,
«Загробная жизнь окажется
школой-интернатом в Пере-
славле». Но важно, что ни того,
ни другого ещё не наступило,
и отдельный (отдельный от
жизни и смерти «ты») вслед
за Крученых:

*мычи
ты уже в клочки
ты уже почти
ты уже земля
языком во рту
звуков наготу
дыш
бур
щля*

А это еще одна грань пути-
метода. Автор расчеловечи-
вается из смысла в звук. Ведь
в звуке нет понятия о смерти,
а значит, и самое смерти тоже

нет. Вот оно, главное и окон-
чательное доказательство того,
что теперь не умер никто.

И, в заключение, еще одна
мысль. В иконописи неред-
ко используется прием «об-
ратной перспективы». Если
не вдаваться в технические
подробности, это означает,
что «зритель является частью
иконы», или «Бог в иконе смо-
трит на зрителя», или «икона
смотрит на зрителя, а не зри-
тель смотрит на икону». Под-
ставляем вместо иконы книгу,
читателя вместо зрителя, и
получается ровно то впечат-
ление, какое возникло у меня
от книги Рубинского. Жаль,
автора рядом нет. Но когда
автор где-то...

*Играет. Плачет.
Я тоже.*

Андрей Манцевтов

Переводы со старояпонского

Екатерина Симонова. Два её единственных платья. — М.: Новое литературное обозрение, 2020



Начну с цитаты из челябин-
ского поэта Яниса Грантса¹:

*маниченко думает что
смерти нет
думает что он проживёт
две тысячи лет <...>
и ведь знает собака на что
ему это бесчисленное
количество лет*

*хочу говорит перевести всех
японских поэтесс
XIII–XV веков*

Теперь одному из организа-
торов фестиваля «InВерсия»
придётся заполнять своё время
чем-то другим: с момента вы-
хода книги Екатерины Симоно-
вой потребность в этих пере-
водах исчезла. Причём начала
Екатерина раньше, с японской
прозы X–XI веков. Сравним:

*Прекрасна пора четвёртой
луны во время праздника
Камо. Парадные кафтаны
знатнейших сановников, выс-*

ших придворных различаются между собой лишь по оттенку пурпура, более тёмному или более светлому. Нижние одежды у всех из белого шёлка-сырца. Так и веет прохладой!

Негустая листва на деревьях молодо зеленеет. И как-то невольно залюбуешься ясным небом, не скрытым ни весенней дымкой, ни туманами осени. А вечером и ночью, когда набегут лёгкие облака, где-то в отдаленье прячется крик кукушки, такой неясный и тихий, словно чудится тебе... Но как волнует он сердце!²

У Екатерины:

Прекрасное: фиолетовая
цветная капуста на грядке,
Поднимающая понемногу
листья, как женщина,
Укладывающая волосы
на затылке в тяжёлый узел;
Крошечные грибы,
прорастающие в садовой
скамье —
Жёлтые, точно кончики
отцовских пальцев,
Протравленные никотином,
металлический запах
детства;
Маленький белый цветок
на фоне колодца —
Без вкуса, без запаха,
сгибающийся под ветром,
Выпрямляющийся снова,
не оставляющий тени;
Вытертые тарелки,
вылинявшие полотенца,
Вилки с погнутыми зубцами,
затупившийся кухонный нож
С пожелтевшей ручкой,
закруглённым лезвием;
Запах дыма, жарящегося мяса,
мыть картошку в бочке,
Обломки батона и разговоров,

сухой укропный венчик, солнце,
Безуспешно пытающееся
сесть несколько часов подряд.

Это же канонический «Мононо аварэ» — эстетический принцип эпохи Хэйан, переводимой как «Мир, спокойствие», лучшим выражением которой является благословение «Умирает дед, умирает отец, умирает сын». Жизнь и смерть идут рука об руку без борьбы, боль и счастье — не полюса, а продолжение друг друга.

Кажется, так всё и есть
в самом счастливом аду:
Тот, кто тебя обидел —
первым тебя и жалеет.
Ржавые головки клевера
на обочине напоминают —
Скоро конец лета.

У Симоновой получилась «книга о любви» по восточным канонам: любви надтелесной, любви внутрисемейной, любви как духа жизни. Как же «надтелесной», когда столько сказано о «В первый же день в Москве у меня начались месячные...»? А вот обратимся к тексту «В Будапешт прилетели в понедельник...»:

...нет ничего бессмысленнее,
нелепее и страшнее тела,
прекрасным
его делает только наша
любовь к тому, кто это тело
надел, носит, зашивает,
наконец оставляет.

И потому тема смерти и «сигналов с того света» так напоминает у Симоновой «кайдан» — традиционный фольклорный жанр в Японии,

призванный испугать слушателя, перешедший в разряд литературы в XVII веке с книги рассказов «Истории о необычайном» Пу Сунлина: главное в них не страх, а протяжённость любви за границы жизни.

...Память
бесполезна столь же, сколь
драгоценна.

И снова я вспоминаю прозу. Так что пишет Екатерина Симонова, «большую прозу» или «маленькую поэзию»³? Где граница в её случае?

В моём понимании, проза в поэзию переходит туда и обратно, как при смене регистра, на эпитете сюжета: событийный он или эмоциональный. Вот идёт симоновский метареалистический нарратив, с вполне прозаической «рифмой»-возвратом к опорной строке-событию, но финал чаще всего выводится не из произошедшего, а из анализа переживаний, не комментирует, а как бы ставится сверху всего, даже до свершившегося, потому что перед нами раскрывается «вселенский закон», такой «песок истины»⁴.

Любовь — это когда последняя конфета всегда засыхает,
поскольку
каждый из вас думает, что её
доест второй.

И с этой точки зрения, конечно, перед нами не книга коротких рассказов, а книга стихотворений, чистая лирика, максимально на эту «лирику» непохожая. Даже поэтические тропы в ней могут быть наме-

ренно развёрнуты на страницу, и если «смысл стихов — это получать удовольствие от открытий»⁵, то мы его получаем как инверсию или «фому»⁶ — ложный ход, приводящий к верному финалу. К примеру, в «National Gejgrafic Россия сообщает» образ бабочек, пьющих слёзы черепах, приводит к тезису, что отсутствие слёз — это одновременно и одиночество, и опустошение, и предельная ясность восприятия, что те, кого мы любим, искажают для нас окружающий мир, и именно этим делают его прекрасней. Но этот вывод не прописан, потому что перед нами — стихи, он проговаривается самим читателем, в специальной пустоте, обрамленной текстом специально для возникновения именно этой мысли.

Для стихотворения читатель — соавтор, читатель стихотворения — всегда сам становится поэтом. А поскольку

*Ибо только через презрение
и эмоциональное насилие
мы можем определиться
со своими эстетическими
идеалами и найти свою
поэтику...*

То и неприятие поэтики Екатерины построено именно на разном понимании каждого из поэтов, что он, собственно, делает. Другой автор сохраняет себя в вечности, возводя гигантские мегалиты, иссечённые сложным руническим узором, а Екатерина сидит в кимоно на коленях перед низким столиком и танцует кистью по рисовой бумаге. И как показывает история искусств — оба этих процесса для неё равноценны. Да, каждое стихотворение — молитва. Но как молятся родители за детей, а дети за родителей?

*Вот мои слова: одеяло,
привезённое за 140 км,
Хотя легче было выкинуть,
арбуз, купленный в темноте,*

*Хотя не было уже сил
тащить и дурацкое одеяло.
Вот их слова: полведра
картошки, три банки варенья.*

Что же касается того, что язык поэзии должен отличаться от бытового языка, а темы поэзии — высокие, то надо помнить: поэзия — зеркало времени и

*кто-то из нас смотрится
в зеркало, пытаюсь понять,
как будет лучше:
быть тем, кем хотелось бы,
или
не отличаться от других.*

И данное собрание стихотворений стирает такую дилемму: одновременно мы все очень похожи и каждый уникален. И жизни мало прожить самого себя. Потому и нужны стихи, чтобы ты всё-таки побыл тем собой, каким стать уже не успеешь.

Сергей Ивкин

Нежный человек в центре мира

Антон Бахарев. Нежный человек. — М.: Эксмо, 2020

Нежный человек — это, условно, и сам автор, но в превосходной степени — это лирический герой, который с годами становится всё более погружённым в себя, сосредоточенным, менее склонным к иронии, но больше к размышлению, он реже выхватывает взглядом, но чаще — вглядывается. И всё-таки «нежный

человек» — из самого начала, от высокого неба, с которым герой себя словно сверяет, и природы, знающей своё дело.

*Будто нету неба,
Будто бездна — тут,
Будто в ветках вербы
Космосы растут,
И вселенский холод
Мир сковал навек...*

*И лежит — расколот —
Нежный человек!*

И небо это, и природа неизбывны в поэзии Бахарева. Лирический герой природе сочувствует больше, чем людям (но не человеку), без опасений на неё полагается, беспрестанно в неё вглядывается и не устаёт прозревать.



Можно, пожалуй, найти тютчевское в поэзии Антона Бахарева, и решетовская линия здесь, в общем, узнаётся. Но, как и всякого серьёзного, большого поэта, Бахарева любишь не за «наследственность» и не за сближения в первую очередь, а за своеобразие, за неповторимую образность, мелодику поэтической речи, собственный лирический пафос.

Продолжатель классической поэтической традиции (приверженец силлабо-тоники, ценитель музыкальности в поэзии, лирического высказывания, граничащего с исповедальностью), Антон Бахарев сумел создать своего лирического героя: изменяющегося, но всегда узнаваемого. И в этом смысле, и интонационно поэзию Бахарева можно сравнивать с лирико-героической и элегической поэзией современников: Бориса Рыжего, Олега Дозморова.

*В окне беснуется листва.
Как будто слышно там,
 снаружи,*

Что обещают ноль-плюс два,
И дальше — хуже.

А я в незыблемых стенах,
Где и паук в углу недвижим,
Осенний впитываю страх
Черешен, вишен.

Но часто кажется мне, что
Я сам с деревьями качаюсь —
И превращаюсь в этот шторм,
И прекращаюсь.

Есть большой соблазн узнать в этом стихотворении голос Бориса Рыжего. Здесь, действительно, многое от элегической поэзии Рыжего: один осенний образ чего стоит (вспоминается «Я зеркало протру рукой...», например).

Однако бахаревский герой не просто испытывает на себе влияние погоды / природы / стихии, но сам становится ею. Шторм, в который превращается лирический герой, — это не столько поэтическое, сколько конкретное явление. В этом состоит особенность образного ряда поэзии Бахарева. Поэт / лирический герой так или иначе напоминает нам, что дерево не просто символ, но и реальный природный объект, организм.

Своеобразие бахаревского поэтического мира ещё больше подчёркивает цикл «Св. картофель» из семи стихотворений, написанных (редкий случай для Бахарева) белым стихом.

*И, пережив условную секунду,
я обретаю новый, странный
 контур
округлого себя. Тепло и сыро.
Вокруг меня заплесневелый
 погреб –*

и пальцы тянутся — и я, ещё
секунду,
смотрю на них глазком
святой картошки.

Для автора картофель (выкопанный и помещённый в погреб, словно бы в склеп или даже в дольмен) не менее живой организм, чем дерево. И он заслуживает не меньшего, а быть может, большего уважения.

«Св. картофель» — это и надпись на фанерной табличке: «свежий картофель»; но это и «святой картофель», как бы ни трудно было принять игровой только на первый взгляд образ. Игрового, впрочем, здесь нет. Речь о перерождении. А прежде — о неминувости рока, приближении фатума: «и пальцы тянутся...»

«Смотрю на них глазком святой картошки» — смиренно, безропотно, беспристрастно. Готовность к своей судьбе, какой бы она ни была. Покорность надмирной воле.

«Контур округлого себя» — это образ наконец обрётённой цельности, даже, пожалуй, совершенства как завершенности.

Вообще пафос лирики Антона Бахарева заключён в предпоследней строфе стихотворения «Черёмух рисовые каши...»:

...надо позарез
Вписать себя и эту кашу⁷
Мне в общий замысел небес.

Однако в стихах нынешнего периода герой Бахарева занят временем и пространством как материей скорее метафизической. Вот стихо-

творение, которым оканчивается сборник:

*Никого на берегу.
Я по берегу бегу.
Соответственно, с рекою
Мы находимся в покое.
Мир сгибается в дугу.*

*Встанет речка, встану я.
Мир сомкнётся до нуля.
Развернётся, как цветочек,
Дарвалдайский колокольчик
Из надлома бытия.*

Если в первом стихотворении сборника, размышляя о смене времён года и постига-

емых истинах, автор утверждает: «В мире ничего вечного», то в «Никого на берегу...» мы видим, как автогерой Бахарева прозревает зазор между условным часом конца Вселенной и вечностью, между миром и мифом⁸, но физическое при этом не переходит в метафизическое, а является им изначально.

И если раньше автогерой Бахарева наблюдал за всем, стоя как бы с краю (не: на краю) мира, существуя с ним скорее в дихотомических отношениях, то теперь этот герой всегда в центре мира и неразделен с

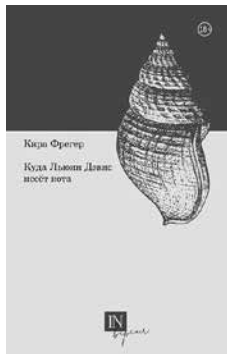
ним. И если раньше он представлял себе безграничный космос отдельно от окружающего мира («Будто нету неба, / Будто бездна — тут...»), то теперь он не сомневается в том, что всё вокруг здесь, на земле, тоже космос. Так, нежный человек, расколотый вселенским холодом космоса, в последнем стихотворении сборника словно бы пробуждается, чтобы и дальше отзываться на каждое движение мира.

Космос бесконечен, а значит, бесконечен и мир.

Марта Шарлай

Что нам делать с котом Льюина Дэвиса?

Кира Фрегер. Куда Льюин Дэвис несёт кота. — Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2020



Поэт и фотограф Кира Фрегер родилась во Владивостоке, живёт в Москве. Участвовала в Фестивале свободного стиха, публиковалась в журналах и альманахах «Воздух», «РЕЦ», «Серая Лошадь», коллективном сборнике «Как становятся экстремистами» и других изданиях. «Куда Лью-

ин Дэвис несёт кота» — её вторая книга, вышедшая после семилетнего перерыва.

Кто такой Льюин Дэвис? Это герой фильма братьев Кознов, неудачливый фолк-музыкант 50-х, пытающийся разгрести свои проблемы. Однажды он ночует у знакомой семейной пары, утром их кот сбегает, Дэвис ловит его и приносит обратно, а хозяйка говорит: это не наш кот и вообще кошка. Это животное несколько раз попадётся ему на глаза во время скитаний по городу, а позже выяснится, что кот его приятелей по имени Одиссей сам нашёл дорогу домой. В фильме кольцевая композиция: он начинается и заканчивается избиением Дэвиса, который так запутался, что не может

почти ни на что повлиять и часто лишь провоцирует людей на оскорбления. Может показаться, что не так важно, куда он несёт кота: важнее, что он несёт не того кота и, в общем-то, проживает не ту жизнь.

В стихотворении Фрегер, ставшем названием книги, этот фильм как будто вписывает лирического субъекта в «общекультурный контекст», то есть популярную западную культуру: из холодного лета пятьдесят третьего персонаж выходит в мир Леонарда Козна, его однофамильцев-режиссёров и Уильяма Берроуза, которому и принадлежит книга «Кот внутри», опубликованная на русском языке в 1999 году. На первый взгляд, это короткое стихотворение —

просто жонглирование аллюзиями или перекличка для «своих», но в 2021 году оно читается сквозь другую призму. 1999 год, когда Дмитрий Волчек издавал в «Колонне» безумные, невероятные тексты, не опасаясь штрафа, иногда кажется таким же далёким, как 1953-й. Старые звёзды забываются, новое незнакомо и непонятно. Льюин Дэвис видит на пороге молодого Боба Дилана, который скоро затмит олдовых певцов, но не узнаёт его. Льюин Дэвис и есть потерявшийся кот.

*холодное лето пятьдесят
минут третьего
dance me to the end of love
старая песенка
посидим в кафе пощёлкаем
портсигаром
друг мой старый
далеко*

*ты только козну не пой
и козну и козну не говори*

*куда Льюин Дэвис несёт кота
внутри одной рукой
а другой гитару*

Обманчиво лёгкие ироничные тексты Фрегер порой напоминают квазиинфантильную «молодую поэзию» начала нулевых: с одной стороны, в ней не присутствовал агрессивный подростковый протест, а с другой — сохранялось ощущение враждебного, «не того», мира, который невозможно победить, потому что ты сам — его часть:

*у меня не тем забита твоя
голова
она тычет пальцами
в пустые слова
в не теми забытой
до станции Тверь электричке*

Карантин, упомянутый в нескольких стихах, усиливает чуждость и изолированность лирического субъекта, но дело не только в пандемии: мир словно бывшая одноклассница, которой ты пишешь письма, ожидая ответа, а они отправляются в спам.

Некоторые стихотворения невольно (или вольно?) отсылают к буддистской мифологии:

*однажды мы проснёмся
и уж тогда поспим*

Человек, говорят наставники, обладает природой Будды, но у большинства эта природа спит. Покрывало майи застилает людям глаза. Нужно проснуться.

Чтобы увидеть настоящий сон.

Некоторые читатели пытаются связать поэзию Киры Фрегер с феминистским письмом, но это скорее квір-письмо (Фрегер часто использует мужской род в качестве нейтрального): поведствователь не обладает какими-то специфическими «женскими» или «мужскими» чертами, эти тексты мог написать мужчина, могла написать женщина, мог написать небинарный человек. Он говорит с нами из мира, где человек хочет стать деревом, а дерево — человеком («дерево думает...», с. 29), где потерявшийся кот — это каждый из нас.

Елена Георгиевская

¹ Янис Грантс. Бумень. Кажницы. Номага: Стихи. — Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2012.

² Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья / Сэй-Сёнагон; [пер. со старояп. В.Марковой]. — СПб.: ООО «Издательство «Пальмира»; М.: ООО «Книга по требованию», 2017. — 350 с. — (Серия «Восточная библиотека»).

³ Цитаты из стихотворения «На весь день обещали дожди...»

⁴ Выражение пермской поэтессы Ирины Кузнецовой о сути поэтического высказывания.

⁵ Кальпиди В. Густое: Книга поэзии — Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2020. — 126 с.

⁶ Термин Курта Воннегута из книги «Колыбель для кошки».

⁷ Кашу черёмух; но это ещё и «каша», что варится в душе лирического героя, поэтическое вещество.

⁸ Мифопоэтическое пространство здесь строится вокруг «дарвалдайского колокольчика», образа, введённого в словесность Ф. Н. Глинкой («И колокольчик, дар Валдая»; Достоевский, иронизируя, говорил, будто здесь можно расслышать деепричастье «дарвалдая»). Бахарев одним невинным сравнением «как цветочек» превращает колокольцы, гудящие «под дугой», почти что в цветы из какого-нибудь сказочного Дарвалдая. Живости этому медному колокольчику придаёт действенное «развернётся... из надлома бытия».

Константин Духонин родился в 1974 году в Перми. Учился на кафедре электротехнического факультета Политехнического института. Затем на филологическом факультете ПГУ. В рамках курсовой работы на основе математических методов и лингвистического анализа разработал детектор лжи. Работал журналистом, блогером и политтехнологом. В создании текстов использует возможности многоуровневых нейронных сетей. Живет в Перми.

Владимир Кишин родился в 1955 году в городе Веймар, ГДР. С 1958-го живет в Перми. Окончил Пермский политехнический институт (1981). Публиковался в журналах «Литературная учеба», «Несовременные записки», «Уральская новь», «Флорида», альманахах «Литературное Прикамье», «Истоки», «Пульс-90», «Поиск -92». Автор книг «Майя» (1990), «Ничья» (1991), «Дед Пихто» (2000), «Частная жизнь» (2003), «Как Андрюша тот свет повидал» (2018).

Денис Колчин родился в 1984 году в Свердловске. Окончил факультет журналистики Уральского университета. Публиковался в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Новая Юность», «Луч», «День и ночь», «Топос», «Пролог», «Волга. 21-й век», «Нева», «Окно», «Новые облака», «LiteraruS», «Новая реальность», «Слово/Word», «Знамя», «Звезда». В качестве военного корреспондента работал на Украине (2014), на Северном Кавказе (2015–2019) и в Нагорном Карабахе (2020). Автор поэтических книг «Подготовительный курс» (2017) и «Фронтир» (2021). Живет в Екатеринбурге.

Руслан Комадей родился в 1990 году на Камчатке. Вырос в Челябинске и Нижнем Тагиле. Окончил Уральский университет по специальности «филология». Участник литературной студии «Мирь» (руководитель Евгений Туренко). Публиковался в журналах «Воздух», «Носорог», «Волга», «Урал». Автор пяти книг стихов. Соредактор журнала «Здесь» и поэтического издательства «Полифем». Организатор ландшафтного фестиваля «Вода и вода». Живет в Екатеринбурге.

Александр Корамыслов родился в 1969 году в Воткинске. Публиковал стихи, танкетки, однослова в журналах «Арион», «Воздух», «Волга», «Урал», «Дети Ра», «Соло», «Футурум АРТ», «День и ночь», «Крещатик», альманахах «Дирижабль» (Нижний Новгород), «Молодой Гений» (Костомукша), «Перелом ангела», «Тритон» (Москва), «Черновик» (Нью-Джерси), газетах «Гуманитарный Фонд», «Русский курьер», «НГ-Exlibris», «Культура», удмуртских городских и республиканских изданиях, а также в Интернете. Автор книги «Песни мудехара» (2014). Живет в Воткинске.

Андрей Мансветов родился в 1975 году в Перми. Окончил Пермское художественное училище. Публиковался в журналах «Москва», «Белый ворон», «Знамя», «Плавучий мост», антологии «Поэтический атлас России». Автор четырех поэтических книг. Ведущий литературных фестивалей. Живет в Перми.

Вера Некрасова родилась в Перми. Окончила Пермский университет. С 2013 года живет в Сантьяго де Чили. Вела блог на портале «Сноб». Автор книги «Чилийский дневник. Пой, а не плачь!» (2018).

Евгения Риц родилась в 1977 году в Горьком. Окончила Нижегородский педагогический университет, кандидат философских наук. Автор трех книг стихов. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Воздух», «Новый мир», «Новый берег», «Волга — XXI век», «Урал» и др., в антологии «Братская колыбель», на сайтах «Сетевая словесность», «Молодая русская литература». Участник интернет-сообщества «Полутона». Живет в Нижнем Новгороде.

Ольга Роленгоф родилась в 1979 году в Перми. Окончила исторический факультет Пермского университета. Стихи и проза публиковались в журналах «Урал», «Интерпоэзия», «Дети Ра», «Литературная Пермь» и др. Автор поэтических книг «Зрение» (2007) и «Время варваров» (2015). Переводила Маргерит Юрсенар, Симону Вейль, Жака Бреля. Автор идеи студенческого поэтического конкурса «Узнай поэта!» (проходит в Перми с 2006 года). Живет в Перми.

Любовь Соколова родилась в 1960 году. Окончила электротехнический факультет Пермского политехнического института. Занималась спортивным туризмом, работала на заводах, преподавала в техникуме. С 1992 года работает в СМИ. Дипломант и лауреат российских журналистских конкурсов и конкурса ПАСЕ. Первый рассказ опубликован в журнале «Аэропорт-Пермь» в 2012 году. Автор сборника рассказов и повестей «Записки взрослой женщины» (2016), романа «Последние» (2017). Живет в Болгарии.

Александра Шабатовская родилась в Свердловске в 1991 году. Окончила бакалавриат Уральского университета и магистратуру Санкт-Петербургского университета, филологический факультет. Участник научных конференций, автор ряда научных публикаций. Соорганизатор Туренковских чтений. Работала научным сотрудником и куратором проектов в Объединенном музее писателей Урала. Заведующая специализированным Кабинетом социальных и гуманитарных наук УГИ УрФУ. Живет в Екатеринбурге.

Селим Эсилев родился в 1969 году в Чеченской республике. Окончил Саратовский медицинский университет. Победитель проекта «Шанс для неизданных книг» литературного фестиваля «Компрос», по итогам которого была издана книга стихов «Фаюмские портреты» (2020). Живет в Грозном.

**Проект осуществлен при поддержке
Министерства культуры Пермского края**

Вещь: Литературный журнал. — Пермь: Издательство «Сенатор», 2021. — 120 стр.

Редактор:
Павел Чечеткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Верстка, дизайн:
Евгения Тесленко

Корректор:
Марина Артемова

Иллюстрации Андрея Побережника

Фото Веры Некрасовой (стр. 82–87)

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу:
e-mail: senator.perm@gmail.com

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Тираж 200 экз.

Адрес редакции:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator.perm@gmail.com



© «Вещь», 2021
© Авторы, 2021
© Издательство «Сенатор», 2021

